

Кондуит и Швамбрания

Автор:

Лев Кассиль

Кондуит и Швамбрания

Лев Абрамович Кассиль

Детство и гимназические годы Льва Абрамовича Кассиля совпали с событиями, которые потрясли весь мир: Первая мировая война и революция 1917 года в России. В повести «Кондуит и Швамбрания» автор обращается к собственному детскому опыту и рассказывает о событиях, в которых участвовал он сам и его семья. Там есть все: и захватывающие дух приключения, и уморительные проделки, и замечательные исторические зарисовки России начала века.

...В конце зимы 1914 года отбывающие наказание в углу братья-гимназисты Леля и Оська неожиданно для самих себя открывают Великое государство Швамбранское, расположенное на материке Большого Зуба, населяют его героями и играют в эту волшебную игру много лет. А еще это рассказ про гимназистов и их школьную жизнь, про проказы и шалости...

Очаровательный и неповторимый юмор Льва Кассиля наиболее полно показал себя именно в этой повести.

Лев Кассиль

Кондуит и Швамбрания

Лев Абрамович КАССИЛЬ

1905-1970

Книга первая

Кондуит

Страна вулканического происхождения

Открытие

Вечером 11 октября 1492 года Христофор Колумб, на 68-й день своего плавания, заметил вдали какой-то движущийся свет. Колумб пошел на огонек и открыл Америку.

Вечером 8 февраля 1914 года мы с братом отбывали наказание в углу. На 12-й минуте братишку, как младшего, помиловали, но он отказался покинуть меня, пока мой срок не истечет, и остался в углу. Несколько минут затем мы вдумчиво и осязательно исследовали недра своих носов. На 4-й минуте, когда носы были исчерпаны, мы открыли Швамбранию.

Пропавшая королева, или Тайна ракушечного грота

Все началось с того, что пропала королева. Она исчезла среди бела дня, и день померк. Самое ужасное заключалось в том, что это была папина королева. Папа увлекался шахматами, а королева, как известно, весьма полномочная фигура на шахматной доске.

Исчезнувшая королева входила в новенький набор, только что сделанный токарем по специальному папиному заказу. Папа очень дорожил новыми шахматами.

Нам строго запрещалось трогать шахматы, но удержаться было чрезвычайно трудно.

Точеные лакированные фигурки предоставляли неограниченные возможности использования их для самых разнообразных и заманчивых игр. Пешки, например, могли отлично нести обязанности солдатиков и кеглей. У фигур была скользящая походка полотеров: к их круглым подошвам были приклеены суконочки. Туры могли сойти за рюмки, король – за самовар или генерала. Шишаки офицеров походили на электрические лампочки. Пару вороных и пару белых коней можно было запрячь в картонные пролетки и устроить биржу извозчиков или карусель. Особенно же были удобны обе королевы: блондинка и брюнетка. Каждая королева могла работать за елку, извозчика, китайскую пагоду, за цветочный горшок на подставке и за архиерея... Нет, никак нельзя было удержаться, чтобы не трогать шахмат!

В тот исторический день белая королева-извозчик подрядилась везти на черном коне черную королеву-архиерея к черному королю-генералу. Они поехали. Черный король-генерал очень хорошо угостил королеву-архиерея. Он поставил на стол белый самовар-король, велел пешкам натереть клетчатый паркет и зажег электрических офицеров. Король и королева выпили по две полные туры.

Когда самовар-король остыл, а игра наскучила, мы собрали фигуры и уже хотели их уложить на место, как вдруг – о ужас! – мы заметили исчезновение черной королевы...

Мы едва не протерли колени, ползая по полу, заглядывая под стулья, столы, шкафы. Все было напрасно. Королева, дрянь точеная, исчезла бесследно! Пришлось сообщить маме. Она подняла на ноги весь дом. Однако и общие поиски ни к чему не привели. На наши стриженные головы надвигалась

неотвратимая гроза. И вот приехал папа.

Да, это была непогодка! Какая там гроза! Вихрь, ураган, циклон, самум, смерч, тайфун обрушился на нас! Папа бушевал. Он назвал нас варварами и вандалами. Он сказал, что даже медведя можно научить ценить вещи и бережно обращаться с ними. Он кричал, что в нас заложен разбойничий инстинкт разрушения и он не потерпит этого инстинкта и вандализма.

- Марш оба в «аптечку» - в угол! - закричал в довершение всего отец. -
Вандалы!!!

Мы поглядели друг на друга и дружно заревели.

- Если бы я знал, что у меня такой папа будет, - ревел Оська, - ни за что бы в жизни не родился!

Мама тоже часто заморгала глазами и готова была «капнуть». Но это не смягчило папу. И мы побрели в «аптечку».

«Аптечкой» у нас почему-то называлась полутемная проходная комната около уборной и кухни. На маленьком оконце стояли пыльные склянки и бутылки. Вероятно, это и породило кличку.

В одном из углов «аптечки» была маленькая скамеечка, известная под названием «скамьи подсудимых». Дело в том, что папа-доктор считал стояние детей в углу негигиеничным и не ставил нас в угол, а сажал.

Мы сидели на позорной скамье. В «аптечке» синели тюремные сумерки. Оська сказал:

- Это он про цирк ругался... что там ведмедь с вещами обращается? Да?

- Да.

- А вандалы тоже в цирке?

- Вандалы - это разбойники, - мрачно пояснил я.

– Я так и догадался, – обрадовался Оська, – на них набуты кандалы.

В кухонной двери показалась голова кухарки Аннушки.

– Что ж это такое? – негодуяще всплеснула руками Аннушка. – Из-за бариновой бирюльки дитев в угол содят... Ах вы, грешники мои! Принести, что ль, кошку поиграться?

– А ну ее, твою кошку! – буркнул я, и уже погасшая обида вспыхнула с новой силой.

Сумерки сгущались. Несчастливый день заканчивался. Земля поворачивалась спиной к Солнцу, и мир тоже повернулся к нам самой обидной стороной. Из своего позорного угла мы обозревали несправедливый мир. Мир был очень велик, как учила география, но места для детей в нем не было уделено. Всеми пятью частями света владели взрослые. Они распоряжались историей, скакали верхом, охотились, командовали кораблями, курили, мастерили настоящие вещи, воевали, любили, спасали, похищали, играли в шахматы... А дети стояли в углах. Взрослые забыли, наверно, свои детские игры и книжки, которыми они зачитывались, когда были маленькими. Должно быть, забыли! Иначе они бы позволяли нам дружить со всеми на улице, лазить по крышам, бултыхаться в лужах и видеть кипятик в шахматном короле...

Так думали мы оба, сидя в углу.

– Давай убедем! – предложил Оська. – Как припустимся!

– Беги, пожалуйста, кто тебя держит?.. Только куда? – резонно возразил я.

– Все равно всюду большие, а ты маленький.

И вдруг ослепительная идея ударила мне в голову. Она пронизала сумрак «аптечки», как молния, и я не удивился, услышав последовавший вскоре гром (потом оказалось, что это Аннушка на кухне уронила противень).

Не надо было никуда бежать, не надо было искать обетованную землю. Она была здесь, около нас. Ее надо было только выдумать. Я уже видел ее в темноте. Вон

там, где дверь в уборную, – пальмы, корабли, дворцы, горы...

– Оська, земля! – воскликнул я задыхаясь. – Земля! Новая игра на всю жизнь!

Оська прежде всего обеспечил себе будущее.

– Чур, я буду дудеть... и машинистом! – сказал Оська. – А во что играть?

– В страну!.. Мы теперь каждый день будем жить не только дома, а еще как будто в такой стране... в нашем государстве. Левое вперед! Даю подходный.

– Есть левое вперед! – отвечал Оська. – Ду-у-у-у-у!!

– Тихай! – командовал я. – Трави носовую! Выпускай пары!

– Ш-ш-ш... – шипел Оська, давая тихий ход, травя носовую и выпуская пары.

И мы сошли со скамейки на берег новой страны.

– А как она будет называться?

Любимой книгой нашей была в то время «Греческие мифы» Шваба. Мы решили назвать свою страну Швабранией. Но это напоминало швабру, которой моют полы. Тогда мы вставили для благозвучия букву «м», и страна наша стала называться Швамбрания, а мы – швамбранами. Все это должно было сохраняться в строжайшей тайне.

Мама скоро освободила нас из заточения. Она и не подозревала, что имеет дело с двумя подданными великой страны Швамбрании.

А через неделю нашлась королева. Кошка закатила ее в щель под сундуком. Токарь к этому времени выточил для папы нового ферзя, поэтому королева досталась нам в полное владение. Мы решили сделать ее хранительницей швамбранской тайны.

У мамы в спальне, на столе, за зеркалом, стоял красивый, всеми забытый грот, сделанный из ракушек. Маленькие решетчатые медные дверцы закрывали вход в уютную пещерочку. Она пустовала. Туда мы решили замуровать королеву. На бумажке мы выписали три буквы: «В. Т. Ш.» (Великая Тайна Швамбрании). Слегка отодрав суконку от королевской подставки, мы засунули туда бумажку, посадили королеву в грот и сургучом запечатали дверцы. Королева была обречена на вечное заточение. О ее дальнейшей судьбе я расскажу потом.

Запоздавшее Предисловие

Швамбрания была землей вулканического происхождения.

Раскаленные зреющие силы бушевали в нас. Их стискивал отвердевший, закаменелый уклад старой семьи и общества.

Мы хотели много знать и еще больше уметь. Но начальство разрешало нам знать лишь то, что было в гимназических учебниках и вздорных легендах, а уметь мы совсем ничего не умели. Этому нас еще не научили.

Мы хотели участвовать в жизни наравне со взрослыми – нам предлагали играть в солдатики, иначе вмешивались родители, учитель или городской.

Много людей жило в слободе, ходило по улицам, толкалось во дворе. Но мы могли общаться лишь с теми, кто был угоден нашим воспитателям.

Мы играли с братишкой в Швамбранию несколько лет подряд. Мы привыкли к ней, как ко второму отечеству. Это была могущественная держава. Только революция – суровый педагог и лучший наставник – помогла нам вдребезги разнести старые привязанности, и мы покинули мишурное пепелище Швамбрании.

У меня сохранились «швамбранские письма», географические карты, военные планы Швамбрании, рисунки ее флагов и гербов. По этим материалам, по воспоминаниям и написана повесть. В ней, между прочим, рассказывается история Швамбрании, описываются путешествия швамбран, наши приключения в

этой стране и многое другое...

География

Можно убедиться,

что земля поката, —

сядь на собственные ягодицы

и катись!

Маяковский

Как и всякая страна, Швамбрания должна была иметь географию, климат, флору, фауну и население.

Первую карту Швамбрании начертил Оська. Он срисовал с какой-то зубоврачебной рекламы большой зуб с тремя корнями. Зуб был похож на тюльпан, на корону Нибелунгов и на букву «Ш» – заглавную букву Швамбрании. Было заманчиво усмотреть в этом особый смысл, и мы усмотрели: то был зуб швамбранской мудрости. Швамбрании были приданы очертания зуба. По океану были разбросаны острова и кляксы. Около клякс имелась честная надпись: «Остров ни считается это клякса ничаянно». Вокруг зуба простирался «Акиан». Ося провел по глади океана бурные зигзаги и засвидетельствовал, что это «волны»... Затем на карте было изображено «морье», на котором одна стрелка указывала: «по тичению», а другая заявляла: «а так против». Был еще «пляж», вытянувшаяся стрункой река Хальма, столица Швамбраэна, города Аргонск и Драндзонск, бухта Заграница, «тот берег», пристань, горы и, наконец, «место, где земля закругляется».

Кривизна нашей подножной планеты очень беспокоила Оську. Он сам стремился безоговорочно убедиться в ее круглости. Хорошо еще, что мы не были знакомы в то время с Маяковским, иначе погибли бы Оськины штанишки, ибо, разумеется, он проверил бы покатоность земли собственным сиденьем... Но Ося нашел другие способы доказательств. Перед тем как закончить карту Швамбрании, он со значительным видом повел меня за ворота нашего двора. Около амбаров еле

заметно возвышались над площадью остатки какой-то круглой насыпи – не то земляного постамента для часовни, не то клумбы. Время почти сровняло эту жалкую горбушку. Оська, сияя, подвел меня к ней и величественно указал пальцем.

– Вот, – изрек Оська, – вот место, где земля закругляется.

Я не посмел возразить: возможно, что земля закруглялась именно здесь. Но, чтоб не спасовать перед младшим братом, я сказал:

– Это что! Вот в Саратове, я видел, есть одно место – там еще не так закругляется.

Необычайно симметричной получилась на карте наша Швамбрения. Строгим очертаниям швамбранского материка мог бы позавидовать любой орнамент. На западе – горы, город и море. На востоке – горы, город и море. Налево – залив, направо – залив. Эта симметрия осуществляла ту высокую справедливость, на которой зиждилось Швамбранское государство и которая лежала в основе нашей игры. В отличие от книг, где добро торжествовало, а зло попиралось лишь в последних главах, в Швамбрании герои были вознаграждены, а негодяи уничтожены с самого начала. Швамбрения была страной сладчайшего благополучия и пышного совершенства. Ее география знала лишь плавные линии.

Симметрия – это равновесие линий, линейная справедливость. Швамбрения была страной высокой справедливости. Все блага, даже географические, были распределены симметрично. Налево – залив, направо – залив. На западе – Драндзонск, на востоке – Аргонск. У тебя – рубль, у меня – целковый. Справедливость.

История

Теперь, как подобает настоящему государству, Швамбрании надо было обзавестись историей. Полгода игры вместили в себя несколько веков швамбранской эры.

Как сообщали книги и учебники, история всех порядочных государств была полна всякими войнами. И Швамброния спешно принялась воевать. Но воевать, собственно, было не с кем. Тогда пришлось низ Большого Зуба отсечь двумя полукругами. Около написали: «Забор». А в отсеках появились два вражеских государства: «Кальдония» – от слов «колдун» и «Каледония» – и «Бальвония», сложившаяся из понятий «болван» и «Боливия». Между Бальвонией и Кальдонией находилось гладкое место. Оно было специально отведено под сражения. На карте так и значилось: «Война».

Слово это, черное и жирное, мы вскоре увидели в газетах...

В нашем представлении война происходила на особой, крепко утрамбованной и чисто выметенной, вроде плац-парада, площадке. Земля здесь не закруглялась. Место было ровное и гладкое.

– Вся война покрыта тротуаром, – убеждал я брата.

– А Волга на войне есть? – интересовался Оська. Для него слово «Волга» обозначало всякую вообще реку.

По бокам «войны» помещались «плены». Туда забирали завоеванных солдат. На карте это тоже было отмечено троекратной надписью: «Плен».

Войны в Швамбронии начинались так. Почтальон звонил с парадного входа дворца, в котором жил швамбранский император.

– Распишитесь, ваше императорское величество, – говорил почтальон. – Заказное.

– Откуда бы это? – удивлялся император, мусоля карандаш.

Почтальоном был Оська, царем – я.

– Почерк вроде знакомый, – говорил почтальон. – Кажись, из Бальвонии, от ихнего царя.

– А из Кальдонии не получалось письма? – спрашивал император.

– Пишут, – убежденно отвечал почтальон, точно копируя нашего покровского почтаря Небогу. (Тот всегда говорил «пишут», когда его спрашивали, есть ли нам письма.)

– Царица! Дай шпильку! – кричал затем император.

Вскрыв шпилькой конверт, император Швамбрании читал:

«Дорогой господин царь Швамбрании!

Как вы поживаете? Мы поживаем ничего, слава богу, вчера у нас вышло сильное землетрясение, и три вулкана извергнулись. Потом был еще сильный пожар во дворце и сильное наводнение. А на той неделе получилась война с Кальдонией. Но мы их разбили наголо и всех посадили в Плен. Потому что бальвонцы все очень храбрые и герои. А все швамбраны дураки, хулиганы, галахи и вандалы. И мы хотим с вами воевать. Мы божьей милостью объявляем в газете вам манифест. Выходите сражаться на Войну. Мы вас победим и посадим в Плен. А если вы не выйдете на Войну, то вы трусы, как девчонки. И мы на вас презираем. Вы дураки.

Передайте поклон вашей мадам царице и молодому человеку наследнику.

На подлинном собственной ногой моего величества отпечатано каблуком

Бальвонский Царь».

Прочтя письмо, император сердился. Он снимал со стены саблю и звал точильщиков. Потом он послал бальвонскому обидчику «телеграмму с нарочным и заплоченным обратом». В телеграмме было написано:

«ИДУ НА ВЫ».

В учебнике русской истории подобные предупреждения посылал своим врагам не то Ярослав, не то Святослав. «Иду на вы» – телеграфировал великий князь каким-нибудь там печенегам или половцам и мчался «отмстить неразумным хозарам». Но с таким нахалом, как бальвонский царь, не стоило говорить на «вы», поэтому швамбранский император зачеркивал в сердцах «иду на вы» и писал: «иду на ты». Потом царь приглашал на визит поставщика медицины двора его величества, лейб обер-доктора, и начинал призываться.

– Ну-с, – говорил лейб-обер-доктор, – как мы живем? Что желудок? Э-э... стул, то есть трон, был?.. Сколько раз? Дышите!

После этого царь говорил кучеру:

– Но! Трогай с богом! Гони их в хвост и в гриву!

И ехал на войну. Все кричали «ура» и отдавали честь, а царица махала из окошка чистым платком.

– Разумеется, из всех войн Швамбрания выходила победительницей. Бальвония была завоевана и присоединена к Швамбрании. Не успели подмести «плац-войну» и проветрить «плен», как на Швамбранию полезла Кальдония. Она была тоже покорена. В заборе крепости проделали калитку, и швамбраны могли ходить в Кальдонию без билета во все дни, кроме воскресенья.

На «том берегу» было отведено на карте место для заграницы. Там жили дерзкие пилигвины – путешественники по ледяным странам, нечто среднее между пилигримами и пингвинами. Швамбраны несколько раз встречались с пилигвинами на плаце войны. Побеждали и здесь всегда швамбраны. Однако мы не присоединили пилигвинов к Швамбранской империи, иначе нам просто не с кем бы стало воевать. Пилигвиния была оставлена для «развития истории».

От Покровска до Драндзонска

В Швамбрании мы обитали на главной улице города Драндзонска, в бриллиантовом доме, на 1001-м этаже. В России мы жили в слободе Покровской

(потом город Покровск), на Волге, против Саратова, на Базарной площади, в первом этаже.

В открытые окна рвалась визгливая булга торговков. Пряная ветошь базара громоздилась на площади. Хрумкая жвачка сотрясала торбы распряженных лошадемок... Возы молитвенно простирали к небу оглобли. Снедь, рухлядь, бакалея, зелень, галантерея, рукоделье, обжорка... Тонкокорые арбузы лежали в пирамидках, как ядра на бастионах в картине «Севастопольская оборона».

Картина эта шла за углом в синематографическом электротееатре «Эльдорадо». Кинематограф – всегда окружали козы. У афиш, расклеенных на мучном клейстере, паслись целые стада.

От «Эльдорадо» до нашей квартиры шла так называемая Брешка, или Брехаловка. Вечерами на Брехаловке происходило гулянье. Вся Брешка – два квартала. Гуляющие часами толкались туда и назад, от угла до угла, как волночки в ванне от борта до борта. Девчата с хуторов двигались посередине. Они плыли медленно, колыхаясь. Так плывут арбузные корки у волжских пристаней. Сплошной треск разгрызаемых каленых семечек стелился над толпой. Вся Брешка была черна от шелухи подсолнухов. Семечки называли у нас «покровский разговор».

Вдоль Брешки рядом стояли парни в резиновых ботах, напаянных на сапоги. Парни шикарно согнутым мизинцем снимали с губ гирлянды налипшей скорлупы. Парни изысканно обращались к девчатам:

– Спозвольте причепись. Як вас по имени кличут... Маруся чи Катя?

– А ну не замай... Який скорый! – отвечала неприступная. – Ну, хай тоби бис... чипляйся.

И целый вечер грузно толкалась перед окнами грегочущая, лузгающая хуторская Брехаловка.

А мы сидели в темной гостиной на подоконнике. Мы глядели на полутемную улицу. Мимо плыла Брешка. А на подоконнике воздвигались невидимые дворцы, воздушные замки, распускались пальмы, неслышная канонада сотрясала нас. Разрушительные снаряды нашего воображения рвали ночь. Мы расстреливали со

своего подоконника Брешку. На подоконнике была Швамбрания.

Нас доставали гудки волжских пароходов. Они тянулись из далекой глубины ночи, будто нити: одни тонюсенькие и дрожащие, как волосок в электролампочке, другие толстые и тугие, словно басовая струна в рояле. И на конце каждой нити висел где-то в сыром надволжье пароход. Мы наизусть знали азбуку пароходных высказываний. Мы читали гудки, как книгу. Вот бархатный, торжественный, высоко забирающий и медленно садящийся «подходный» гудок парохода общества «Русь». Где-то выругал зазевавшуюся лодку сиплый буксир, запряженный в тяжелую баржу. Вот два кратких учтивых свистка: это повстречались «Самолет» с «Кавказ-и-Меркурием». Мы даже знаем, что «Самолет» идет вверх, в Нижний, а «Кавказ и Меркурий» – вниз, в Астрахань, ибо «Меркурий», соблюдая речной этикет, поздоровался первым.

Джек, спутник моряков

Вообще мир для нас – это бухта, заставленная пароходами, жизнь – сплошная навигация, каждый день – рейс. Все швамбраны, само собой понятно, – мореходы и водники. У каждого во дворе ошвартован свой пароход. И самым уважаемым гражданином Швамбрании признан Джек, Спутник Моряков.

Этот государственный муж обязан своим происхождением маленькой книжке «Карманный спутник моряков и словарь необходимых разговорных фраз». Книжку эту, засаленную до прозрачности, мы купили на базаре за пятак, и всю мудрость ее вложили в уста новому герою – Джеку, Спутнику Моряков. Так как в книжке был, кроме краткой лоции и навигации, словарь, то Джек стал настоящим полиглотом.

Он разговаривал по-немецки, по-английски, по-французски и по-итальянски.

Я, изображая Джека, просто читал подряд словарь разговорных фраз. Получалось очень здорово.

– Гром, молния, смерч, тифон, – говорил Джек, Спутник Моряков. – Доннер, блитц, вассерхозе!.. Здравствуйте, сударь или сударыня, гоод морнинг, бонжур,

говорите ли вы на других языках? Да, я говорю по-немецки и по-французски. Доброго утра, вечера. Прощайте, гутен морген, абенд, адье. Я прибыл на пароходе, на корабле, пешком, на лошадях; пар мер, а пье, а шваль... Человек за бортом. Ун уомо ин маре. Как велика плата за спасение? Вифиль ист дер бергелон?

Иногда Джек бесстыдно завирался. Мне приходилось краснеть за него.

- Лоцман посадил меня на мель, - сердился Джек, Спутник Моряков, на сто третьей странице, но тут же, на сто четвертой, признавался на всех языках:

- Я нарочно посадил судно на мель, чтобы спасти часть груза...

Наш покровский день мы открываем подходным гудком еще в постелях. Это мы возвращаемся из ночной Швамбрании. Аннушка терпеливо присутствует при утренней процедуре.

- Тихай! - командует Оська, отгудев. - Бросай чалку!

Мы сбрасываем одеяла.

- Стой! Спускай трап!

Мы спускаем ноги.

- Готово! Приехали! Слезай!

- С добрым утром!

У тихой пристани

Наш дом - тоже большой пароход. Дом бросил якорь в тихой гавани Покровской слободы. Папин врачебный кабинет - капитанский мостик. Вход пассажирам второго класса, то есть нам, запрещен. Гостиная - рубка первого класса. В

столовой – кают-компания. Терраса – открытая палуба. Комната Аннушки и кухня – третий класс, трюм, машинное отделение. Вход пассажирам второго класса сюда тоже запрещен. А жаль... Там настоящий дым.

Труба не «как будто», а настоящая. Топка гудит подлинным огнем. Аннушка, кочегар и машинист, шурует кочергой и ухватами. Из рубки требовательно звонят. Самовар дает отходный свисток. Самовар бежит, но Аннушка ловит его и несет, плененного, в кают-компанию. Она несет самовар на вытянутых руках, немного на отлете. Так несут младенцев, когда они собираются неприлично вести себя.

Нас требуют «наверх», и мы покидаем машинное отделение дома.

Мы уходим нехотя. Кухня – главный иллюминатор нашего парохода. Как говорится, окошко в мир. Туда вечно заходят люди, про которых нам раз навсегда сказано, что это неподходящее знакомство. Неподходящим знакомством называются: старьевщики, точильщики, шарманщики, разносчики, черкесы-слесари, стекольщики, почтальоны, пожарные, нищие, трубочисты, дворники, соседские кухарки, угольщики, цыганки-гадалки, ломовые извозчики, бондари, кучера, дровоколы... Все это пассажиры третьего класса. Вероятно, они самые лучшие, самые интересные люди в мире. Но нас уверяют, что вокруг них так и реют, так и кишат всякие микробы и зловредные бактерии.

Оська однажды спросил даже нищего золотаря, помойных дел мастера Левонтия Абрамкина:

– А правда, говорят, на вас киша-кишмят... нет... кимшат, ну, то есть лазают, скарлатинки?

– Ну, – обиделся Левонтий, – какие там скарлатинки?... Это на мне просто так, обыкновенные воши... А скарлатины – такой животной и нет вовсе...

Скарланпендра есть, так то засекомая, вроде змеи. В кишках существует.

– А у вас, значит, – обрадовался Оська, – скарлапендра в кишках кишмит? Да?

Абрамкин обиделся окончательно, нахлобучил шапку и сердито захлопнул за собой дверь.

Очень поучительное место эта кухня. В Швамбрании у нас царь сам сидит на кухне и всем другим позволяет. В Покровске перед рождеством, например, приходят сюда колядовать ребята. Они поют:

Маланья ходыла,

Васильку просыла:

– Василько, батько мий...

На Новый год является «проздравить» сам городской. Он стучает каблуками и говорит:

– Честь имею...

Ему выносят на блюде рюмку водки и серебряный рубль. Городовой берет целковый, благодарствует и пьет за наше здоровье. Мы смотрим ему в рот. Крякнув, городской замирает, предаваясь внутреннему созерцанию, словно прислушиваясь, как вливается водка в его полицейский желудок. Затем он опять щелкает каблуками и прикладывает руку к козырьку.

– Зачем это он? – шепотом интересуется Оська.

– Это он отдает нам честь, – поясню я. – Помнишь, когда он вошел сначала, он сказал: «Имею честь»? А теперь он ее отдает нам.

– За рубль? – спрашивает Оська.

Городовой смущен.

– Вы что тут торчите, архаровцы? – раздается бас отца.

– Папа, – кричит Оська, – а нам тут полицейский честь отдал за рубль!

– Переплатили, переплатили! – хохочет отец. – Полицейская честь и пятака не стоит... Ну, живо, марш из кухни!.. Как это у вас там? Левое назад, правое вперед...

Домашний капитан

Отец – высоченный пышно-курчавый блондин. Это невероятно работоспособный человек. Он не знает, что такое усталость. Зато, наработавшись, он может выпить целый самовар. Двигается он быстро и говорит громко. Когда папа, рассердившись, кричит иной раз на бестолковых пациентов-хуторян, то мы всегда боимся, как бы больные не умерли со страху. Мы бы на их месте обязательно умерли.

Но, кроме того, папа очень веселый человек. И бывает так: придет к нему больной, у которого «в грудях як огнем пече», а через несколько минут забудет про грудь и хватается за живот: заболел от смеха... А когда отец начинает грохотать сам, то кошка стремглав бросается под буфет и в аквариуме идет зыбь. К ужасу Аннушки, он выносит маму к обеду на руках. Он ставит ее на пол и говорит: «Вот барыня приехала».

Много веселых слов знает отец.

– Жри да рожу пачкай, – говорит он нам за обедом. – Эй вы, братья-разбойники, кальдонцы, бальвонцы, подберите нюни! – и ущемляет наши носы между указательным и средним пальцами.

И это у него собезьянничал швамбранский царь манеру говорить кучеру: «Дуй их в хвост и в гриву».

Иногда, упорно отстаивая новую койку для общественной больницы, он выступает на волостных сходках. А сход – богатеи хуторяне – сыто бубнит: «Нэ треба...». Потом в газете «Саратовский вестник» обязательно описывается, как господин старшина призывал господина доктора к порядку, а господин доктор требовал занесения в протокол слов господина Гутника, а господин Гутник на это...

Отец знаком со всей слободой. Нарядные свадебные кортежи почти всегда считают долгом остановиться перед нашими окнами. Цветистая кутерьма окружает тогда наш дом. Брешка засеяна конфетами: их швыряют пригоршнями

с саней в толпу. Сотни бубенцов брякают на перевитых лентами хомутах. На передних санях рывкает среди ковров оркестр. И пляшут, пляшут прямо в широких санях, с лентами и бумажными цветами в руках багровые визжащие свахи.

А еще вспоминали об отце и такое.

В слободе прежде шибко хулиганили. «Фулиганы», как называли их покровчане, были пожилыми семейными людьми... От хулиганов этих в слободе не было житья. Полиция бездействовала.

Жители решили действовать сами. Был составлен список самых матерых разбойников. По этому списку адресов толпа шла из улицы в улицу. Толпа шла и убивала...

Было это глухой ночью.

Один из главарей хулиганской банды скрылся у папы в больнице. Он действительно был серьезно болен. Он умолял спасти его. Он валялся в ногах у папы.

– Бьют вас за дело. Только ваше счастье, что вы заболели вовремя. В данную минуту вы для меня прежде всего пациент, больной. И больше я ничего знать не хочу. Вставайте с пола, ложитесь на койку.

Распаленная толпа осадила больницу. Она ярилась и гудела у закрытых ворот. Отец вышел за ограду к толпе.

– Чего надо? Не пуцу, – сказал отец, – поворачивайте-ка оглобли! Вы мне еще тут заразы нанесете в родильный. Дезинфицируй потом...

– Ты, доктор, только бы Балбаша на руки выдал... Под расписку. Мы б его... вылечили...

– У больного Балбашенко, – строго и отдельно ответил папа, – высокая температура. Я не могу его выписать. И никаких разговоров! И не шумите. А то больные пугаются – это им вредно.

Толпа тихо подвинулась ближе. Но тут из нее вышел старый грузчик и сказал так:

– Доктор, ребята, правильно излагает. Им ихняя специальность не позволяет. Пошли, ребята. А только мы Балбаша и после закончим. Извиняйте за беспокойство.

Балбаша «закончили» через три месяца.

Земля Ханонская

Папа очень вспыльчив. В сердцах он оглушитель. Нам тогда влетает «под первое число» и под двадцатое. Нам всыпается и в хвост и в гриву, нас распекают во всю ивановскую, нам прописывают ижицу... Тогда на сцену выступает мама.

Мама у нас служит модератором (глушителем) в слишком бравурных папиных разговорах. Папа начинает звучать тише.

Мама – пианистка, учительница музыки. Целые дни у нас по дому разбегаются «расходящие гаммы», скачут, пиликают экзерсисы – упражнения. Унылый голос насморочной ученицы сонно отсчитывает:

– Раз-ын, два-ын, три-ын... Раз-ын, два-ын...

И мама поет на мотив бессмертного «Ханона»:

– Первый, пятый, третий палец, снова первый и четвертый. Тише руку, не качайте. Пятый, первый...

И все наше детство было положено на эту музыку. У меня до сих пор все воспоминания поются на мотив «Ханона». Только дни, утонувшие в липкой микстуре жа?ра, дни нашего дифтерита, кори, скарлатины, крупа вспоминаются без аккомпанемента. Мама сама выхаживала нас.

Мама близорука. Она низко наклоняется к пюпитру, и к концу дня в глазах у нее рябит от черненьких вибрионов, которые называются нотами.

На папином столе в кабинете есть бумагодержатель – тонкая, длинная дамская рука из бронзы зажимает рецепты, почтовые квитанции, счета. Вот у матери точно такие руки. Изнеженной барышней она храбро покинула большой город и уехала с папой в «земство», в деревню, к далекой и глухой Вятке. Там ей суждено было просидеть много бессонных ночей у черного, разужоренного стужей окна. Из окна дуло. Ночник плаксиво моргал. За окном была страшная морозная зга и метель. И где-то в этой студеной, воющей тьме плутал папа, скача на розвальнях в далекое – километров за двадцать – село. Сбоку мерцали огоньки, но то были не дома, а волки. Замирал далекий колокол – маяк метельных ночей. Папа ехал на колокол. Из сугробов вылезало черное село. При зыбком свете лучины, в овчинной духоте, папа делал неотложную операцию. Потом он ехал обратно, вымыв руки.

Гудок разбудил Швамбранию

Зимами по Покровску тоже ходит пурга. Степь снегами и вихрями вторгается в слободу. Всю ночь тогда покровские церкви мерно звонят. Колокол указывает дорогу заблудившимся в степи. Он берет путника за ухо и выводит на дорогу. Но у нас все до?ма. У нас тепло. За окнами крутится вьюжное веретено и сучит тонкую нить, воя в трубе. Это свистит наш дом-пароход, укrywшийся от вьюги и всех невзгод в тихой гавани.

У нас обычные гости: податной инспектор Терпаньян, маленький зубной врач Пуфлер. Оська только что по ошибке и ко всеобщему смущению назвал его «зубным порошком». Папа засел за шахматы с податным, а мама играет на рояле менуэт Падеревского. Аннушка вносит самовар. Самовар фыркает на Аннушку: «Фррря...». И посвистывает: «Фефела...». Веселый податной, как всегда, пугает Аннушку. В сотый раз он изображает, будто хочет сделать Аннушке «бочки». При этом податной издает какой-то особенный, свой обычный пронзительный звук:

– Кркльххх...

Аннушка в сотый раз пугается, визжит, а податной хохочет и спрашивает:

– Видал миндал?

Папа смотрит на часы и говорит:

– Ну, архаровцы, марш дрыхать! Мы вас не задерживаем.

Мы чинно говорим «покойной ночи» и идем отплывать в ночную Швамбранию.

Концы отданы, то есть ботинки сняты. В детской раздаются отходные свистки. Подается команда:

– Левое вперед! Ш-ш-ш-ш-ш... У... у!.. Средний ход! Вперед до полного!.. Полный!

Теперь мы опять швамбраны. Нам надоели тихие пристани, экзерсисы, звонки пациентов и кухонное отчуждение. Мы плывем на вторую родину. Берега Большого Зуба уже встают за тем местом, где земля закругляется. В ракушечном гроте томится королева, хранительница тайны. Дворцы Драндзонска ждут нас.

Прибытие. Я стою на капитанском мостике и нажимаю рычаг свистка. Вырастает гудок.

Длинный подходный гудок. Я открываю глаза. Покровск. Детская. Гудок. В окно бьется тревожный гудок. Вся комната завалена тяжелым, огромным гудком. Гудок ходит по дому, шаркая туфлями.

Гудит.

И тогда в доме оживают звонки. Звонят с парадного. Звонят из кабинета на кухню. Звонит телефон.

Слышен папа.

– Ах, мерзавцы! – разносится по дому. – Что они? Не предвидели? Ну ладно. Есть носилки? Я уже готов. Лошадь выслана? Сейчас буду. В больнице знают.

Гудит, гудит чья-то большая беда.

Мама прибежала в детскую и рассказывает.

На костемольном заводе катастрофа, то есть несчастье: рухнула высокая стена сушилки. Хозяин велел положить на нее слишком много костей для сушки, а она была старая. Хозяина предупреждали. Стена не выдержала, упала. Пятьдесят рабочих под ней осталось. Папа с другими докторами уехал спасать раненых.

Да... Вот как... Вот как... Вот какие вещи происходят, оказывается...

Нет, у нас в Швамбрании этого бы никогда не могло быть. Никогда!

Критика мира и собственной биографии

Вместе со стеной костемольного завода рухнула и наша уверенность в благополучии могущественного племени взрослых. В их мире обнаружили там и сям изрядные мерзости. Мы подвергли мир жестокой критике. Мы установили, что:

(несправедливость)

1. Жизнь управляют не все взрослые, а только те, кто носит форменные фуражки, хорошие шубы и чистые воротнички. Остальные, а их больше, называются «неподходящим знакомством».

2. Хозяин костемольного, убивший и искалечивший полсотни людей, не подходящих для знакомства, остался ненаказанным. Швамбраны никогда бы не приняли к себе такого.

3. Мы с Оськой ничего не делаем (только учимся), а Клавдюшка, Аннушкина племянница, моет полы и посуду у соседей, а карамель ест только в воскресенье. И она совсем безземельная: у нее нет никакой Швамбрании...

Мы заканчиваем нашу опись мирового неблагополучия тем, что охватываем ее сбоку большой фигурной скобкой. Скобка похожа на летящую чайку. У носика чайки встает жаркое и требовательное слово: Несправедливость.

Езда «в народ»

Позже мы занесли в список несправедливостей и наше воспитание. Сейчас я понимаю, что нельзя особенно бранить наших родителей. Они были только люди своего времени, и, уж конечно, совсем не худшие. Подлый уклад той жизни уродовал нас так же, как наших родителей. Но забавно: наши родители считали, что они не чужды даже демократизма в вопросах воспитания. Например, содеянную нами лужу у аквариума мы должны были вытирать сами. Звать для этого Аннушку запрещалось. Папа с гордостью распространялся об этом у знакомых. Затем в целях воспитания в нас демократических чувств папа предпринимал поездки с нами без кучера. Нанималась таратайка с лошадей. Мы ехали «в народ». Правил сам папа, одетый в чесучовую рубаху. Папа со вкусом произносил: «тпру», «но», «эй». Но если на узкой дороге впереди показывалась какая-нибудь почтенная дама, возникало затруднение. Папа смущенно просил нас:

– Ну-ка, спойте, ребята, что-нибудь... только громче, чтоб она обернулась. Не могу же, в самом деле, я ей крикнуть: «Эй, берегись!». Тем более это, кажется, знакомая...

Мы пели. Когда это не помогало и дама не сворачивала с дороги, папа посылал меня. Я слезал с таратайки, подходил к даме и вежливо говорил:

– Тетя, мадам... папа просит вас немножко подвинуться. А то проехать нельзя, и мы вас задавить можем нечаянно.

Дамы почему-то обычно обижались, но дорогу давали.

Кончилась эта езда «в народ» тем, что папа однажды опрокинул нас всех в канаву. С тех пор поездки прекратились.

Мир животных

Чтобы внедрить в нас любовь к «малым сим» и облагородить наши души, приобретались различные представители мира животных. Кроме кошек и собак, были рыбы. Рыбы жили в аквариуме. Однажды заметили, что маленькие золотые рыбки стали исчезать одна за другой. Оказалось, что Оська выуживал их, клал в спичечные коробки и зарывал в песок. Ему очень нравился похоронный церемониал. Во дворе обнаружили целое кладбище рыб.

Потом произошла неприятность с кошкой. Кошка отчаянно исполосовала Оськины руки. Дело в том, что Оська папиной зубной щеткой почистил кошке зубы...

Совсем грустная история вышла с козленком. Это живое начинание постигла полная неудача. Козленка папа купил специально для нас. Козленок был маленький, черный, крутолобый, мелко завитой. Он походил на воротник, убежавший с папиной шубы.

Папа принес его в гостиную. Тонкие ножки козленка разъезжались на линолеуме.

– Вот, – сказал папа, – это вам. Смотрите ухаживайте за ним хорошенько.

Козленок в ответ на это сказал «бе-е-е» и тотчас посыпал «кедровых орешков» на ковер. Потом он объел обои в кабинете и намочил на кресле. Папа, к счастью, спал в то время после обеда и ничего этого не видел. Мы немного повозились с веселым козленком. Вскоре он надоел нам, и мы забыли о своем курчавом товарище. Козленок куда-то исчез. Через час в пустой гостиной неожиданно раскатисто загремели аккорды пианино. Это нашедшийся козленок прыгнул с разбегу на клавиши. Папа от этого проснулся и заторопился в больницу на вечерний обход. Не зажигая света, он натянул в темноте брюки и, зевая, вышел в столовую. Мы с испугу разом сели оба на один стул. Мама всплеснула руками. Папа взглянул вниз и обмер... Одна из штанин доходила ему лишь до колен. Изжеванные, мокрые, измусоленные клочья висели на ноге... Вот куда исчезал козленок!

В тот же вечер его отвезли обратно к хозяину.

Вокруг нас

Отец и мать работали с утра до вечера, а мы росли, положа руку на сердце, блистательными бездельниками. Нам было оборудовано классическое «золотое детство» – с идеалами, вычитанными из книжек «Золотой библиотеки». У нас была специальная гимнастическая комната, игрушечные поезда, автомобили и пароходы... Нас обучали языкам, музыке и рисованию. Мы знали наизусть сказки братьев Гримм, греческие мифы, русские былины. Но для меня все это померкло, когда я прочел некую книжку, называвшуюся, кажется, «Вокруг нас». В ней просто рассказывалось о том, как пекут хлеб, делают уксус, изготавливают кирпич, лют сталь, дубят кожу. Книжка эта раскрыла мне сложный и занимательный мир вещей и людей, их производящих. Соль на столе прошла через градирню, чугунок со щами – через доменную печь. Ботинки, блюдечки, ножницы, подоконники, паровозы, чай – все это, как оказалось, было изобретено, добыто, сработано огромным умелым трудом людей. Рассказ об овчине был не менее интересен, чем миф о золотом руне. Мне нестерпимо захотелось самому мастерить нужные вещи. Но старые книги и учителя, воодушевленно повествуя о коронованных героях, ничего не сообщали о людях, делающих вещи. И из нас растили или белоручек, беспомощных и никчемных, или надменную касту чистоплюев – людей «чистого умственного труда». Правда, иногда нам дарили кубики и кирпичики и предлагали создавать художественные подобия машин. Энергия искала выхода. Мы выкорчевывали пружины диванов, изучая истинное строение вещей, и получали оглушительные нагоняи.

Мы даже завидовали некоему Фектистке, рябому ученику жестянщика. Фектистка презирал нас за наши короткие штаны. Правда, он был неграмотен, зато делал настоящие ведра, реальные совки, подлинные кружки, несомненные тазы и лоханки. Но как-то, купаясь, Фектистка показал нам на своем золотушном теле вполне реальные синяки, подлинные кровоподтеки – несомненные следы суровых наставлений хозяина. Жестянщик бил Фектистку. Он заставлял мальчика работать круглый день, кормил его всякой бросовой мерзостью и, дубася по худой Фектисткиной спине, вбивал в него кулаками скобяную премудрость...

Умственность и ремесло

Мы перестали завидовать Фектистке. Мучительные догадки влезли в наши головы.

Люди умственного труда подчинялись вещам и ничего не могли с ними поделать. А люди-мастера сами не имели вещей.

Когда в нашей квартире засорялась уборная, замок буфета ущемлял ключ или надо было передвинуть пианино, Аннушку посылали вниз, в полуподвал, где жил рабочий железнодорожного депо, просить, чтоб «кто-нибудь» пришел. «Кто-нибудь» приходил, и вещи смирялись перед ним: пианино отступало в нужном направлении, канализация прокашливалась и замок отпускал ключ на волю.

Мама говорила: «Золотые руки» – и пересчитывала в буфете серебряные ложки.

Если же нижним жильцам требовалось прописать брательнику в деревню, они обращались к «их милости» наверх. И, глядя, как под диктовку строчатся «во первых строках» поклоны бесчисленным родственникам, умилялись вслух:

– Вот она, умственность. А то что наше ремесло? Чистый мрак без понятия.

А в душе этажи тихонько презирали друг друга.

– Подумаешь, искусство, – говорил уязвленный папа, – раковину в уборной починил... Ты вот мне сделай операцию ушной раковины! Или, скажем, трепанацию черепа.

А внизу думали:

«Ты вот полазил бы на карачках под паровозом, а то велика штука – перышком чиркать!».

Между нашим и полуподвальным этажами поддерживались такие же отношения, какие были в известной сказке у слепого пешехода и его приятеля – зрячего, но безногого. Взаимная тягостная зависимость скрепляла их

сомнительную дружбу. Слепой носил на себе товарища. Безногий, сидя на шее приятеля, обозревал окрестности, устанавливал курс и командовал. Однако все же люди из группы «неподходящее знакомство» сами умели делать вещи. Может быть, они могли бы научить и нас, но... из нас готовили «людей чистого умственного труда», и нам оставалось клеить из бесплатных приложений к журналам безжизненные модели вещей, картонные корабли, бумажные заводы, утешаясь, что на материке Большого Зуба все жители, от мала до велика, не только читают наизусть сказки, но и сами могут хотя бы переплести их...

Бог и Оська

Оська был удивительным путаником. Он преждевременно научился читать и четырех лет запоминал все, что угодно, – от вывесок до медицинской энциклопедии. Все прочитанное он запоминал, но от этого в голове его царил кавардак: непонятные и новые слова невероятно перекувыркивались. Когда Оська говорил, все покатывались со смеху. Он путал помидоры с пирамидами. Вместо «летописцы» он говорил «пистолетцы». Под выражением «сиволапый мужик» он разумел велосипедиста и говорил не сиволапый, а «велосипый мужчина». Однажды, прося маму намазать ему бутерброд, он сказал:

– Мама, намажь мне брамапутер...

– Боже мой, – сказала мама, – это какой-то вундеркинд!

Через день Оська сказал:

– Мама! А в конторе тоже есть вундеркинд: на нем стучают и печатают.

Он перепутал «вундеркинд» и «ундервуд». Но у него были и свои верные понятия и взгляды. Как-то мама прочла ему знаменитый нравоучительный рассказ о юноше, который поленился нагнуться за подковой и должен был потом подбирать с дороги сливы, умышленно роняемые отцом.

– Понял, в чем тут дело? – спросила мама.

– Понял, – сказал Оська. – Это про то, что нельзя из пыли ягоды немытые есть...

Всех людей Оська считал своими старыми знакомыми. Он вступал в разговоры со всеми на улице, сокрушая собеседников самыми непостижимыми вопросами.

Однажды я оставил его одного играть в Народном саду. Оська нечаянно забросил мяч в клумбу. Он попробовал достать мячик, помял цветы и, увидя дощечку «Траву не мять», испугался.

Тогда он решил обратиться к посторонней помощи.

В глубине аллеи, спиной к Оське, сидела высокая черная дама. Из-под соломенной шляпы ниспадали на плечи длинные кудри.

– Мой мяч упрыгнул, где «Цветы не рвать», – сказал Оська в спину даме.

Дама обернулась, и Оська с ужасом заметил, что у нее была густая борода. И Оська забыл про мяч.

– Тетя! – спросил он. – Тетя, а зачем на вас борода?

– Да разве я тетя? – ласковым баском сказала дама. – Да я ж священник.

– Освещенник? – недоверчиво сказал Оська. – А юбка зачем? – И он представил себе, как неудобно, должно быть, в такой длинной юбке лазить на фонари, чтобы освещать улицы.

– Сие не юбка, – отвечал поп, – а ряса зовется. Облачен согласно сану. Батюшка я, понял?

– Сейчас, – сказал Оська, вспоминая что-то. – Вы батюшка, а есть еще матушка. В граммофоне есть такая музыка. Батюшки-матушки...

– Ох ты, забавник! – засмеялся поп. – Некрещеный, что ли? Отец-то твой кто? Папа?.. Ах, доктор... Так, так... Понятно... Про бога-то знаешь?

– Знаю, – отвечал Оська. – Бог – это на кухне у Аннушки висит... в углу. Христос Воскрес его фамилия...

– Бог везде, – строго и наставительно сказал священник, – дома, и в поле, и в саду – везде. Вот мы сейчас с тобой толкуем, а господь бог нас слышит... Он ежечасно с нами.

Оська посмотрел кругом, но бога не увидел. Оська решил, что поп играет с ним в какую-то новую игру.

– А бог взаправду или как будто? – спросил он.

– Ну поразмысли ты, – сказал поп. – Ну кто это все сделал? – спросил он, указывая на цветы.

– Честное слово, правда, это не я! Так было, – испугался Оська, думая, что поп заметил помятые цветы.

– Бог все это создал, – продолжал священник.

А Оська подумал: «Ладно, пусть думает, что бог, – мне лучше».

– И тебя самого бог произвел, – говорил поп.

– Неправда! – сказал Оська. – Меня мама!

– А маму кто?

– Ее мама, бабушка!

– А самую первую маму?

– Сама вышла, – сказал Оська, с которым мы уже читали «Первую естественную историю», – понемножку из обезьянки.

– Уф! – сказал вспотевший поп. – Безобразия, незаконное воспитание, разврат младенчества!

И он ушел, пыля рясой. Оська подробно передал мне весь свой диспут с попом.

– Такой смешной весь! – вспоминал Оська. – Сам в юбке, а борода!

Семья у нас была почти безбожная. Папа говорил, что бог вряд ли есть, а мама говорила, что бог – это природа, но может наказать. Бог возник когда-то из ночных причитаний няньки, потом он вошел в квартиру через неплотно закрытую дверь из кухни. Бог в нашем представлении состоял из лампадки, благовеста и аппетитного святого духа, который шел от свежих куличей. А иногда он представлял какую-то далекую и сердитую силу, которая гремела на небе и следила за тем, грешно или не грешно показывать язык маме. В книге «Моя первая священная история» была картинка: бог сидел на дыме и сотворял весь мир на первой странице. Но первая же книжка по естествознанию развеяла дым. Богу больше не на чем было сидеть.

Небесная Швамбрания

Оставалось еще какое-то царство небесное. Когда приходили нищие и Аннушка говорила им «не взыщите», она утешала их и себя, что все нищие, все бедняки и, очевидно, все люди не подходящего для нас знакомства попадут после похорон в царство небесное и будут там прохлаждаться в райском палисаднике.

Однажды мы с Оськой решили, что уже попали в подобное царство небесное. Соседская горничная Мариша выходила замуж. Она венчалась в Троицкой церкви. Аннушка взяла нас с собой.

В церкви было красиво, как в Швамбрании. Пахло довольно хорошо. Кругом были нарисованы ангелы и разные старики. Они были обложены взбитыми облаками. Хотя на улице был день, горело много свечей. А нищих, нищих было как в настоящем царстве небесном. И все крестились.

Потом вышел главный батюшка и стал изображать, будто он бог. Он был, как потом рассказывал всем Оська, в большой золотой распашонке, а через голову надел длинную слюнявку, тоже всю золотую. Он стал перед тумбочкой, похожей на ночной столик. Перед тумбочкой постелили простыню. Мариша, вся в цветах, как принцесса, встала в пару со своим женихом, и они пошли загадывать и сговариваться, как мы всегда перед тем, как разбиться на партии для лапты. Они прямо ногами стали на простыню. Мы не слышали, о чем они говорили со священником, но Оська уверял, что они загадали и спрашивали у него: «Сундук денег или золотой берег?» А потом будто бы поп сказал: «Агу», а Мариша говорит: «Не могу». Поп жениху: «Засмейся», а жених: «Не хочу». И Мариша немножко поплакала.

- Вот дура! - сказал Оська. - Чего ревет? Ведь это же как будто.

После этого они стали играть в колечки, а когда кончили, поп велел крепко держаться за руки. Мы думали, что они будут играть в разрывушки, но поп стал водить их хороводом вокруг тумбочки. Хор пел непонятно, но нам показалось:

«Кого любишь, поцелуй. Ой-ли-луя, поцелуй».

Мариша выбрала своего жениха, и они поцеловались...

После посещения церкви мы решили, что царство небесное - это такая Швамбрания, которую взрослые выдумали для бедных.

А в нашей Швамбрании я ввел для пышности, а больше смеха ради духовенство (Оська сначала путал духовное сословие с духовым оркестром). Главным швамбранским попом был патриарх Гематоген. Это напоминало патриарха Гермогена. Кроме того, гематогеном называлась липкая, приторная микстура, которой нас пичкали. Католических прелатов звали «ваше преподобие». Мы величали Гематогена «ваше неправдоподобие»...

Покровская Золушка

Сказки оканчивались благополучно. Судомойки становились принцессами, спящие красавицы просыпались, ведьмы гибли, мнимые сироты обретали родителей... На последней странице играли свадьбу, на которой мед и пиво по усам текли, но в рот не попадали.

В Швамбрании, в стране наполовину сказочной, все дела красил и венчал благополучный финал. И мы пришли к выводу, что люди бы жили гораздо веселее и счастливее, если бы, живя подобно нам, играли в сказку.

Но оказалось, что сказки хорошо кончаются только в книжках. В действительности же даже сказка приобретала неприятный конец. И в конце правдивой сказки, в которую попробовали сыграть окружавшие нас люди, маячили не медовые усы, а усы городского.

Итак, кто не знает сказки о бедной домашней работнице по прозвищу Золушка-Сандрильона, о ее злой мачехе-эксплуататорше? Кто не слышал о голубях, выбравших из горшка с золой всю гречиху, о доброй фее, доставшей Золушке контрамарку на бал, и о туфельке, потерянной во дворце?

Но вряд ли кто знает, что сказка о Золушке записана в старом штрафном кондуитном журнале Покровской мужской гимназии.

Надзиратель Покровской гимназии Цап-Царапыч изложил на страницах кондуитного журнала новый вариант этой истории. Но Цап-Царапыч был краток и сердит. Поэтому мне придется самому рассказать о покровской Сандрильоне.

Звали ее Марфушей, была она горничной, временно служила у нас и собирала почтовые марки.

Клейменные орлы

Марки приходили из далеких городов и стран. Под ними, в конвертах, были вложены в строчки поклоны, извещения, просьбы, благодарности, новейшие лекарства от запоров, малокровия и других болезней. Отцу заграничные фирмы слали рекламные проспекты патентованных снадобий.

Но Марфушу не интересовало содержание конвертов.

Вскрытые и опустошенные конверты она выкидывала, предварительно отпарив с них над самоваром марки. В кованом сундуке под Марфушиной кроватью хранились рассортированные по папиросным коробочкам сотни марок.

Конверты на кухню доставляли мы с братишкой.

На основе филателии окрепла наша дружба с Марфушей.

Мы были посвящены во все ее тайны.

Мы знали, что кучер из папиной больницы – Марфушина симпатия, а приказчик из аптекарского магазина – зазнавала и просто дрянь, потому что он дразнит Марфушу Метламорфозой...

Узнали мы еще также, что если человек чихнет, ему надо сейчас же сказать: «Ахчи, спичка в нос, пара колес, конец оси, чтоб чесало в носе; чих на ветер, кишки на мешки, жилки на струнку, живот на хомут»... Все... уф!

Вечерами Марфуша открывала сундук, позволяя нам любоваться ее сокровищами.

Здесь были целые комплекты Петров Великих и других монархов. Цари Александры были собраны по номерам: I, II и III. На императорских носах стояли штемпелеванные даты. Клейменные орлы ерошили перья в красных, зеленых, синих четырехугольниках с зазубренными краями. Невиданные львы сидели за решеткой штемпеля.

Мы, благоговая, созерцали эту пеструю коллекцию, а Марфуша, любовно вороша царей и орлов, мечтала вслух:

– Как вот до двух тыщ насобираю, продам. А на их платье сошью туалетное. Спереди обставочка, на заде бант и кругом вуаль с мушкой. Погляжу тогда, кто меня Метламорфозой обзовет... Погляжу...

Газообразное начальство

Митьку Ламберга исключили из 2-й Саратовской гимназии за непочтительный отзыв о законе божьем. Он поступил в Покровскую гимназию и поселился у нас. Митя называл себя «жертвой реакции» и священным долгом своим считал делать всякие гадости начальствующим лицам. Он говорил:

– Я мстю, то есть, я хотел сказать, мщу, начальству во всех его видах: в жидком, твердом и газообразном.

Начальство в жидком, каплющем состоянии представлялось Мите в виде родителей. Твердым начальством приходилось признать директора гимназии и учителей. Под газообразным, всепроникающим начальством подразумевались правительство, полиция и земский начальник. На земского начальника гимназисты точили зубы по своим соображениям. При этом старшеклассники упоминали имена гимназисток Зои Швыдченко и Эммы Угер. Когда кончались уроки, сани земского часто поджидали на углу Зою и Эмму. На городском катке газообразная фигура толстого земского начальника всегда плыла с одной из девочек. Гимназисты хмурели и бросали в земского снежками из-за забора. На заборе был нарисован большой черный котенок и написано «Коток».

Святки

На святки к нам приехал гостить наш двоюродный брат Витя, молодой художник. Витя был неумоимо весел, изобретателен и носат...

– Оне симпатичные, – сказала о нем Марфуша, – только уж больно носом здоровы.

На святках в Коммерческом собрании устраивался большой бал-маскарад для избранного общества. Знакомые дамы готовили костюмы. Нам тоже прислали пригласительные билеты. И тут Мите пришла в голову блестящая идея – насолить земскому на маскараде. Папа принял эту идею восторженно. Витя предложил свои услуги в качестве художника. Стали выдумывать костюмы. Целый день все ходили сосредоточенные и молчаливые. Изредка Митя с

сияющим видом вбегал в столовую и кричал:

- Я придумал! Страшно смешное...

- Ну? - говорили все.

- Надо одеться самоубийцей... А на трупе, то есть на костюме, написать: «Прошу в моей смерти винить земского начальника»... Х-ха...

- А музыка при этом играет марш Шопена, - ехидно дополняла мама. - Страшно смешно!

- Да, - грустно говорил папа, - никогда в жизни я так не хохотал.

Сконфуженный Митя становился на голову и, болтая ногами, кричал:

- Вот так и буду назло стоять вверх ногами, пока идеи к голове не прильют!..

В двенадцать часов ночи папа придумал. Он выдумал действительно чудесный костюм.

Кроме того, план папин был вообще замечателен: на маскарад направлялась Марфуша и должна была смутить пылкого земского начальника.

Все отправились в кухню.

- Марфа-посадница, - торжественно проговорил папа, - не хотите ли вы пойти на бал-маскарад в Коммерческое собрание?

- Да господи ж! - смутилась Марфуша. - Только ведь туды по пригласительным. Как же я?

- Мы вас сделаем королевой бала, Марфуша. Но для этого нужны... все ваши марки. Что? Жалеете?..

– Марфуша, – проникновенно сказал Митя, – подумайте! В ваших руках судьба земского. В ваших руках судьба... Вы будете королевой бала.

– Эх, уж ладно, – сказала после тяжкого раздумья Марфуша и полезла под кровать за сундуком.

Дни склеены синдетиконом

Два дня весь дом работал над костюмом. Груды искромсанного картона и бумаги лежали на столе в «бариновой кухне», как называла Марфуша отцовский кабинет. Все были перепачканы краской и гуммиарабиком. Тюбики синдетикона источали липучие паутинные нити. Витя ходил, распорядительно задрал нос, и с него капали пот и тушь. Папа безуспешно отдирает от пиджака аргентинскую марку, а мама обучала Марфушу манерам и несколькими английскими фразами. Мы же с Осей превратились в сиамских близнецов, нечаянно сев на обмазанную синдетиконом ленту. Лента прилипла к штанам. Мы крепко приклеились друг к другу.

Вечером, перед маскарадом, надушенную и завитую Марфушу нарядили в совсем уже готовый костюм. Это был громадный почтовый конверт, совершенно готовый к отправлению. Полуаршинные марки были наклеены по углам. На каждую из них пошла добрая сотня Марфушиных марок. Рисунок и цвет марок искусно подобрал Витя. По маркам прошли жирные колеи невероятных штемпелей. Адрес был выведен изящным рондо:

Марфушу запечатали в конверт. На голову напялили другой конверт – понятно, во много раз меньший.

По углам тоже пестрели марки. На колпаке-конверте было написано:

Не узнать вам анонима,

Все догадки ваши мимо!

И никто вас не уважит,
Ничего вам не расскажет.
Мани, Тони, Зои, Эммы —
Все сегодня будут немые.

Туфли Марфуши были также сплошь заклеены марками. Конверты очень шли к Марфуше.

– Ты такая красивая, Марфуша! – сказал ей Оська. – Ты прямо как к тетя на картинке « Мойте голову пиксафоном». Даже красивше.

Белая шелковая маска с серебряной бахромой закрыла Марфушино лицо.

Почетным почтальоном был избран Витя.

В городе его никто не знал, да и к тому же он наклеил черные усы и надел черную мамину шляпу со страусовым пером.

Искусственные усы и естественный нос придавали ему вид зловещий и романтический... Не то испанский гранд, не то румынский шарманщик.

Анонимка

Витя лихо подкатывает со своим ценным пакетом к клубу. За освещенными окнами ухает барабан. Музыка завязла в открытой форточке. Витя галантно высаживает Марфушу и снимает с нее шубу. Он раскланивается с неподражаемой учтивостью.

– Труакар вуазем нотр дам де Пари абракадабра! – говорит он и закручивает примерзшие усы.

Гардеробщики с уважением смотрят на них. С широкой лестницы струится свет, музыка и веселый праздничный гул. Наверху Марфушу сразу окружают и

вперебой читают адрес. На минуту хохот заглушает музыку. Но вдруг смех смолкает. Марфуша видит, как в овальные отверстия ее маски вливается растерянная физиономия земского.

Земский читает и краснеет. Но ноги Марфуши, маленькие ножки, оклеенные марками, прельщают земского.

– Гм, – говорит земский, – дорогая анонимочка... разрешите на вальс?

– Ол райт, – говорит анонимочка. – Спик инглиш?[1 - Очень хорошо. Говорите по-английски?]

Земский смущен. Инглиш он ни бе ни ме. Богач Адольф Эдуардович Штарк пытается помочь ему. Кое-как они объясняют ей жестами: начальник приглашает ее на вальс. Музыка рывкает. Музыканты раздувают щеки. Кажется, что и стены залы раздуваются от ударов барабана. Музыка выжимает сердце, как мокрый платок. Земский угощает Марфушу мороженым. Штарк тает вместе с мороженым. Земский целует руку анонимке. Дамы ревнуют. По залу ползут догадки и серпантин. Сыплется конфетти. Сыплются на Марфушину тарелочку жетоны – голоса за приз.

– Музыка, стой! – гремит земский начальник. И, разогнавшись, оркестр стихает сразу, как граммофон, у которого кончился завод.

– Господа, – кричит земский, – наибольшее количество жетонов собрала маска «Письмо». Ей присуждается первый приз – золотые часы! Ура прелестной анонимке, ура!!! Вскроем письмо!

Зал шумит. Над головой лопаются бомбы конфетти. Кто-то шепчет Марфуше:

– Молодчина, Марфа-посадница, ай молодчина! Дуй дальше!

Митя стоит среди товарищей-гимназистов. Гимназисты хихикают. Митя подходит к земскому. Он говорит:

– Знаете, я, кажется, узнал, кто эта анонимка... Это – известная... Впрочем, что я делаю! Я же обещал молчать!

– Умоляю, молодой человек, – шепчет земский, – плюньте на обещание. Скажите! Хотите мороженого?

– Нет, не просите, – говорит, злорадствуя, Митя и поедает мороженое.

– Вскроем письмо, господа! – кричит земский.

И вдруг в зале появляется носатый незнакомец с длинными усами.

– Каррамба кракатоа мелинсфунд, пепермент доминант септ аккорд олеонафт![2 - Ничего не значащий, бессмысленный набор иностранных слов.] – рычит незнакомец на своем тарабарском языке, берет Марфушу за руку и быстро уводит ее к лестнице.

Земский кидается за ним. Маски, домино, арлекины, гусары, цветочные корзины, пиковые дамы, бабочки, испанки, бояре – весь пестрый маскарадный сброд устремляется к лестнице. Устрашающие нос и усы Вити сдерживают любопытство гостей.

Гимназисты как бы нечаянно оттесняют публику. Марфуша запахивается в шубу, сани трогаются.

Витя вскочил на ходу. Они несутся по сонным улицам. У Марфуши смыкаются веки. Фонари, как медузы, шевелят золотые нити. Золушка возвращается на кухню.

Ночью на пустом сундуке тихо шелкают на своих маленьких счетах новые часики.

Счастливая и уставшая, спит Марфуша. Разорванный конверт – шелуха сказочного вечера – пустует у кровати. У порога несут почетный караул четыре пары грязных штиблет. Утром их надо вычистить.

Золушка разоблачена

В газете «Саратовский вестник» в столбце покровской хроники было напечатано:

«В среду в клубе Коммерческого собрания состоялся грандиозный бал-маскарад. Было много интересных костюмов. Наибольший успех имела маска «Анонимное письмо».

Костюм был прекрасно выполнен в форме почтового конверта с настоящими марками, штемпелями и остроумным адресом.

Вполне справедливо присутствующие присудили костюму первый приз, который и был выдан земским начальником г. Разудановым в виде золотых часов. Несмотря на настойчивые просьбы гостей, маска отказалась открыться и была увезена с маскарада неизвестным лицом. Предполагают, что это была приезжая актриса».

А через два дня, когда город еще томился в догадках, отца вызвали к замигренившей супруге земского. После осмотра пациентки отец пил с земским чай. Разуданов корил папу:

– Что же это вы, батенька, на маскарад не заглянули? Много потеряли, ей-богу. Там такая масочка была, доложу вам, ну-ну... Немножко, правда, меня прокатили, но зато что за ножки! А руки! Порода, батенька мой, порода! Вероятно, иностранка... Из головы не идет!

– Ну, что вы, – скромно сказал папа, – ничего особенного – это наша горничная Марфуша.

– Ка-ак? – откинулся земский, побагровев, и лицо его вытянулось, так как пухлые губы потянулись вниз, а глаза полезли вверх.

Отец, уже не сдержавшись, так захохотал во все горло, что излеченная было им мигрень у супруги земского снова вернулась на место.

Туфелька Сандрильоны

На этом, собственно, кончается рассказ о последней Золушке.

Паж не принес Марфуше на кухню туфельку.

Однако след знаменитой туфельки Сандрильоны отыскался на страницах кондуитного журнала.

Голуби-сизяки, вытащившие для Марфуши из горшка золы золотую крупинку, поплатились.

Через несколько дней на парадном крыльце земского начальника был обнаружен резиновый, чудовищных размеров бот.

Бот был накрепко привинчен шурупами к ступенькам крыльца.

В то же утро на заборах были кем-то прикреплены следующие «приказы»:

«ПРИКАЗ

Приказываю всему женскому населению г. Покровска явиться в кратчайший срок к земскому начальнику для примерки на правую ногу туфельки, утерянной анонимной посетительницей маскарада в Коммерческом собрании. Та, которой туфелька придется впору, будет немедленно назначена земской начальницей. Земский начальник обязуется вечно быть под каблуком этой туфли.

Земский начальник

Разуданов».

Рассказывают, что утром, пока полиция еще не сняла бот с крыльца, приезжала хуторянка – услышав о приказе, решила попытать счастья, но нога не полезла.

– Трошки маловат, – с досадой сказала баба и плюнула в бот.

А Мите и еще троим товарищам «за неуместное, порочащее учебное заведение, дерзкое озорство и недостойное поведение в публичном месте» был объявлен выговор и сбавлены отметки в поведении. Таков эпилог, отличающий историю покровской Сандрильоны от старой сказки о Золушке.

Голубиная книга

Вступительное

Вступительный экзамен я сдавал весной. Дмитрий Алексеевич, домашний учитель, пришел рано утром и заставил меня повторить «коренные слова на ять». Папа перед отъездом в больницу положил свою большую руку мне на макушку, откинул мою голову назад и спросил:

– Ну, как котелок? Варит?

С мамой мы пошли в гимназию. По дороге мама, волнуясь и заботливо оглядывая меня, все говорила:

– Глазное, не волнуйся! Говори громче и не торопись. Прежде чем отвечать, подумай как следует.

Дмитрий Алексеевич шел рядом и спрашивал таблицу умножения вразбивку и подряд. До «девятью девять» и до гимназии мы дошли одновременно.

День был полон грамматики. На собирательном базаре сыпались прилагательные, междометия и числительные. На амбарной ветке, проходившей неподалеку от гимназии, неодушевленный паровоз старался сбить меня с толку. Он кричал и двигался, как одушевленный.

Перед самыми дверьми Дмитрий Алексеевич сделался очень строгим, хотя сквозь пенсне видны были его добрейшие, чудесные глаза.

– Ну, теперь руки по швам! – сказал он и внезапно спросил: – А ну, быстро: гимназия – какая часть речи?

– Имя существительное, нарицательное, неодушевленное! – отчеканил я.

– А гимназист?

– Одушевленное...

В это время из двери гимназии выходил огромного роста детина в гимназической форме. Он мрачно и презрительно оглядел мой матросский костюмчик и так же мрачно сказал:

– Ошибаешься, юноша! Брешь. Гимназист – существо неодушевленное.

Я, потрясенный рыком и ростом этого ученого мужа, почувствовал себя совсем сбитым с панталыку.

В коридоре гимназии было холодно от волнения.

Потом была переключка. Стол, накрытый зеленым сукном. Диктант: «Купи поросенка за грош, да посади его в рожж, так будет он хорошш!» Сердце стучало на весь класс. В дверь класса глядели мамы. Мамы волновались, беспокойно вглядывались в склонившиеся над партами лица: поставят в слове «рожь» мягкий знак или нет?

Я поставил. Но зато от волнения забыл поставить мягкий знак в собственной фамилии.

Потом была письменная по арифметике и устные экзамены.

На экзамене по русскому языку я делал разбор предложения: подлежащее, сказуемое и всякое такое. Подошел священник, протянул мне какую-то книгу на церковнославянском языке. Учитель русского языка, кудрявый, русый и бородатый, неуверенно сказал:

– Батюшка! А ведь это им не требуется, кажется?.. Вообще иных вероисповеданий...

И он почему-то очень смутился, как будто сказал что-то нехорошее. Я тоже покраснел.

– Тем паче необходимо, – строго сказал батюшка. – Вот возьми и прочти. Прочти.

Я прочел и перевел какую-то страницу.

Через несколько дней уже было известно, что меня приняли в гимназию.

Забрили! Оболванили!

Лето мы провели на даче в деревне Подлесное, Хвалынского уезда, куда в сосновые и липовые леса увез я казавшееся мне чрезвычайно почетным звание гимназиста. Это звание я гордо нес на вершины хвалынских меловых гор, в ущелья Теремшаня и густые малинники, куда мы тихонько забирались.

В то время Россия, Европа, мир начинали войну.

Мы ехали из Хвалынска на пароходе. На пароход сажали мобилизованных. На пристанях мальчишки-газетчики кричали:

– Последние телеграммы! Три тысячи пленных! Наши трофеи!

На пристанях бились у пароходных сходен плачущие, растрепанные женщины – старухи и молодки: они провожали мобилизованных отцов, мужей, братьев, сыновей. Отходные свистки заглушали плач, причитанья, нестройное «ура», разноречивой оркестра. Пароход разворачивал большую вспененную дугу по воде и давал прощальные гудки. Долго-долго. Короткий перерыв – и опять тревожно... протяжно.

В рубке первого класса звенели в такт машине хрустальные висюльки на люстре. Гремело пианино. Пахло Волгой, ухой и духами. Смеялись дамы.

В окно салона был виден уплывавший крутой берег. По берегу вверх от пристани тянулись тяжело и сиротливо деревенские таратайки.

Проводили...

В нашей каюте пахло по-солдатски от моего новенького ранца. Через день начинались занятия в гимназии.

Дома меня уже ждал форменный костюм. Начиналась гимназическая пора. Прощай, двор и уличные друзья! Я чувствовал себя почти мобилизованным. Дома меня остригли наголо, «оболванили», как сказал отец.

– Совсем зольдат, – говорил портной Виркель, примеряя на мне готовую форму.

Пуговицы

То были торжественные дни всеобщего признания моего величия и длинных брюк навывпуск. Мальчишки кричали мне на улице: «Сизяк!». Сизяками дразнили гимназистов. Я был горд, что меня теперь тоже можно так дразнить.

Солнце сияло на моем животе, отражаясь в латунной бляхе кожаного кушака. На бляхе чернели буквы «П. Г.» – «Покровская гимназия». Выпуклые блестящие пуговицы, как серебряные божьи коровки, выползли на серую гимнастерку. И в первый день, торжественный и страшный, серьезный августовский день, я в новых ботинках (левый чуть жал) поднялся к дверям гимназии.

Прохладный рокот коридора овеял меня. За дверьми в августовском дне остались Подлесное, меловые горы, лето, свобода.

Маленький старичок в мундире с медалью пошел мне навстречу. Он показался мне серьезным и рассерженным, как все в этот день. Помня, что говорила мне мама, я щелкнул каблуками и низко поклонился, сняв за козырек фуражку.

– Здравствуй, здравствуй! – сказал старичок. – Положь фуражечку вон туда. В первый, поди? Вон – третий налево.

Я тщательно и почтительно поклонился еще раз.

– Ну, иди, иди, наклонялся! – засмеялся старичок и, взяв из угла щетку, пошел подметать коридор.

В классе сидели здоровенные стриженные ребята. Я оказался чуть ли не самым маленьким. По классу расхаживало несколько громадных детин в потрепанных гимнастерках или выцветших мундирах – второгодники.

Один из них поманил меня пальцем к себе.

– Сидай ко мне. У меня место свободное. Как твои фамилии?.. А мое Фьютингеич-Тпрунтиковский-Чимпарчифарече салов-Фомин-Трепаковский-По-колелено-Синеморе-Переходященский! Повтори без передышки!

Я повторить не смог.

– Ничего, – утешал он, – насобачишься. Макуху лопаешь? Нет? Закурить есть?.. Нема?.. А как мужик яйца на базаре продавал, слышал?

Об этой истории я ничего не слышал. Второгодник сказал, что вообще я большая баба. В это время к парте нашей подошел подвижной, лопухий и лохматый второгодник. Он внимательно разглядел меня. Сел на крышку парты и быстро спросил:

– Ты доктора сын? Да? Доктор едет на свинье с докторенком на спине! Это чья пуговица? – И он ухватил блестящую пуговицу на обшлаге моей гимнастерки.

– Моя, а то чья же еще? – ответил я.

– А раз твоя, так держи ее! – И, вырвав пуговицу, он сунул мне ее в руки.

– А это чья? – спросил он, берясь за следующую.

Наученный горьким опытом прошлого ответа, я сказал, что не знаю.

- Не знаешь? - закричал лопухий второгодник. - Значит, не твоя?

И , оторвав вторую пуговицу, он бро си л ее на пол. К ласс загрохотал. Так я остался бы, вероятно, без единой пуговицы, если бы не пришел инспектор. Все встали сразу вместе. Мне это очень понравилось. Инспектор щурил веселые, хитрые глаза. Пушистая, расчесанная надвое, как ласточкин хвост, борода его мела мелкие звезды на лацканах мундира. Инспектор сказал весело и ласково:

- Ну! Стрючки-новички! Отшарлатанили? Погоняли голубей? То-то, сорванцы, горлопаны... Смирно!!! Гавря Степан! Убери брюхо! Спрячь живот в ранец! Второй год сидишь, мерзавец, а стоять не умеешь! В кондуит захотел? Ишь, отрастил космы на хуторе. Остригись!

Потом инспектор вынул список и сделал переключку. При этом он нарочно смешно путал фамилии второгодников.

- Туфельд! - кричал он вместо Куфельд. - Варекухонко! - вместо Куховаренко.

Дошла очередь до меня.

- Здесь!!! - оглушительно выпалил я.

Инспектор удивился:

- Маленький, а горластый! Вот так взревел! Недаром Львом прозываешься. Сколько лет?

Чтобы угодить второгодникам, я решил сострить:

- Полдесятого!

Инспектор спокойно сказал:

– А я вот тебя, Лев, царь зверей... прохвост этакий, оставлю без обеда до половины десятого, тогда ты узнаешь, как острить. Пстой, пстой! – закричал он, как будто я хотел куда-то уйти. – Пстой! Это зачем у тебя на обшлаге пуговицы? Здесь по форме не полагается, значит, нечего и выдумывать.

Он подошел и взял меня за рукав. Потом вынул из кармана какие-то странные щипцы и вмиг отхватил лишние, по уставу не полагающиеся пуговицы.

Теперь я весь был по уставу.

Наполеон и кондуит

В кондуит я попал очень скоро.

Надо было докупать кое-какие учебники. С мамой и братишкой мы поехали в Саратов.

Занятия уже начались. Заполнилась первая страница гимназического дневника. Повернулись первые страницы учебника, открывшие массу важного и интересного. Я чувствовал себя весьма ученым. Пароходик «Клеопатра», на котором мы ехали, шел мимо давно знакомого острова Осокоря. А я уже видел не просто остров, но «часть суши, со всех сторон ограниченную водой»...

В Саратове, купив учебники, мы зашли сниматься. Фотограф навеки запечатлел негнущуюся фуражку с гербом и новые ботинки. Потом мы гуляли по Немецкой. Фуражка стояла над головой, как венец у святых на иконе. Ботинки скрипели и пели, будто орган.

Мы зашли в кафе-кондитерскую «Жан». Мама заказала кофе с пирожными наполеон. В кафе было прохладно и полутемно. В зеркале блестели герб моей фуражки и носки ботинок. Напротив сидел невероятно прямой, сухой господин в форменной фуражке. Господин разговаривал с дамой и смотрел в нашу сторону. Глаза у него были тусклые, снулые, как у рыбы на кухонном столе. Я взгляделся в него и... наполеон застрял у меня в глотке, как в снегах России. Это был наш директор – Ювенал Богданович Стомолицкий.

Я вскочил с губами, липкими от волнения и пирожного. Я поклонился. Сел. Опять встал. Директор кивнул головой и отвернулся.

Мы вышли. По дороге, у дверей, я еще раз поклонился. День был испорчен. Наполеон беспокойно бурчал в животе...

На другой день на большой перемене в класс вошел наш классный наставник. Он потребовал мой дневник и на кондуитной страничке написал:

Воспитанникам средних учебных заведений воспрещается посещать кафе, хотя бы и с родителями.

Второгодник Кузьменко, взглянув на запись, сказал:

– Эге! Здорово! Это ловко: уже в кондуит попал. Молодец, брат. Хвалю за храбрость!

Я, признаться, сначала здорово струсил. Но тут приободрился. Равнодушно пожал плечами:

– Втяпался. Черт с ним!

А кондитерские с тех пор мы стали называть «кондуитерские».

П. Г.

Покровская мужская гимназия была похожа на все другие мужские гимназии. Холодные кафельные полы, мытые мокрыми опилками. Длинный коридор. Классы. В коридоре – короткий прибор перемен и отлив уроков.

Звонок. Лязгающий звон его имел два выражения. Одно, в конце урока, – веселое, хихикающее, беззаботное:

«Дунь!.. Жизнь – дребедень!».

Другое – в начале урока, когда кончается перемена. Брюзжащая, злая морда:

«Дррррать вас надо, дрянь!».

Уроки. Уроки. Уроки. Классные журналы. Конduit. «Вон из класса!», «К стенке!».

Молитвы, молебны. Царские дни. Мундиры. Шитая позументом тишина молебнов. Руки по швам. Обмороки от духоты и двухчасового неподвижного стояния.

Сизые шинели. Сизая тоска. Дни листались страницами дневника. Расписание. Что задано? Балл – отметка. Подписью классного наставника кончалась неделя. И только воскресенье, самый короткий день в неделе, не имело своей графы в дневнике. Все остальное было отчеркнуто «от сих до сих».

§ 18. Воспитанникам средних учебных заведений запрещается с 1 ноября по 1 марта пребывать вне дома после семи часов вечера.

§ 20. Воспрещается посещение воспитанниками театров, кинематографов и прочих увеселительных заведений без особого на то разрешения г. инспектора для каждого раза. Безусловно воспрещается посещение кондитерских, кафе, ресторанов, мест публичного гулянья и т. д.

Примечание: В г. Покровске таковыми местами являются: Народный сад, Базарная площадь и железнодорожные платформы.

Так было написано в наших гимназических «билетах», и всякий поступок, нарушающий святость устава, грозил кондуитом. Говорят: все дороги ведут в Рим. В гимназии все дороги вели в конduit. Жизнь каждого сизяка (гимназиста) была вписана в конduitный журнал. Штрафы, «безобеды», выговоры, исключения из гимназии... Страшная это была книга! Тайная книга. «Голубиная книга».

Есть такое предание, что «Голубиная книга» упала много веков тому назад с неба и написано было в ней будто бы про все тайны мироздания. Замечательная такая книга, вроде кондуита для планет. И никто из мудрецов не смог прочесть ее целиком и понять: слишком глубоки были ее тайные смыслы. Вот такой «Голубиной книгой» казался нам, гимназистам, кондуит, ибо тайны его свято блюлись начальством. Никто не смел и думать о том, чтоб прочесть кондуитные записи.

Голуби-сизяки

Сизяками называют диких голубей. Сизяками нас дразнили за сизые шинели, которые мы должны были носить. В «Голубиную книгу», в кондуит, была вписана жизнь трехсот «диких голубей». Триста голубей томились в силке.

Город Покровск раньше был слободой. Слобода Покровская. Слобода была богатая. На всю Россию торговала хлебом. На берегу Волги стояли громадные, пятиэтажные деревянные, с теремками, амбары. Миллионы пудов зерна хранились в этом амбарном городке. Тучи голубей закрывали солнце. Зерно грузили на баржи. Маленькие буксирные пароходы выводили громадные баржи из бухты, как выводит мальчик-поводырь слепца.

Жили в слободе Покровской украинцы-хлеборобы, богатые хуторяне, немцы-колонисты, лодочники, грузчики, рабочие лесопилок, костемольного завода и немного русских крестьян. Летом калились до синевы под степным солнцем, гоняли верблюдов. Ездили на займище, дрались на берегу. Гонялись на лодках с саратовцами. Зимой пили. Справляли свадьбы, танцуя по Брешке. Лутили подсолнухи. Зажиточные хуторяне собирались в волостном правлении «на сходку». И, если подымался вопрос о постройке новой школы, о замощении улиц и т. д., горланили обычную «резолюцию»:

– Нэ треба!

Болота и грязь затопляли слободские улицы.

Так жили в слободе Покровской, в семи верстах от Саратова.

И вот великовозрастные сыны этой степной вольницы, хуторские дикари, дюжие хлопцы, были засажены за парты Покровской гимназии, острижены «под три нуля», вписаны в кондуит, затянуты в форменные блузы.

Трудно, почти невозможно описать все, что творилось в Покровской гимназии. Дрались постоянно. Дрались парами и поклассно. Отрывали совершенно на нет полы шинелей. Ломали пальцы о чужие скулы. Дрались коньками, ранцами, свинчатками, проламывали черепа. Старшеклассники (о, эти господствующие классы!) дрались с нами, первоклассниками. Возьмут, бывало, маленьких за ноги и лупят друг друга нашими головами. Впрочем, были такие первоклассники, что от них бегали самые здоровые восьмиклассники.

Меня били редко: боялись убить. Я был очень маленький. Все-таки раза три случайно валялся без сознания.

На пустырях играли в особый «футбол» вывернутыми телеграфными столбами и тумбами. Столб надо было ногами перекатить через неприятельскую черту. Часто столб катился по упавшим игрокам, давя их и калеча.

Сдували, списывали, подсказывали на уроках безбожно и изощренно. Выдумывали хитроумнейшие способы. Изобретались сложные приборы. Механизировались парты, полы, доски, кафедры. Была организована «спешная почта», «телеграф». Во время письменных ухитрялись получать решения из старших классов.

Некоторые «назло учителям» нарочно горбились. Так, уродуя себя, согнувшись в три погибели, они стояли в углах, куда их ставили «на выпрямление». Дома же это были прямые, стройные парни.

В классах жевали макуху (жмых), играли в карты, фехтовали ножами, меняли козны и свинчатки, читали Ната Пинкертона. На некоторых уроках половина класса стояла у стенки, четверть отдыхала и курила в уборной или была выгнана из класса. За партами лишь кое-где торчали головы.

В классах жгли фосфор – для вони. Приходилось проветривать класс, и заниматься было невозможно.

Под учительскую кафедру прикрепляли пищалку. Во время урока потянешь за ниточку – игрушка пищит. Учитель бегает по классу – пищит. Учитель обыскивает парты – пищит.

– Встаньте и стойте!

Класс на ногах – пищит.

Приходит инспектор – пищит. Весь класс сидит два часа без обеда.

Пищит...

Гимназисты воровали на базаре, дрались на всех улицах с парнями. Били городских. Учителям, которых невзлюбили, наливали всякой гадости в чернила. На уроках тихонько играли на расщепленном пере, воткнутом в парту. У расщепленного пера звук нестерпимый, зудящий, как зубная боль: зинь-ицив...

Директор

Директор Ювенал Богданович Стомолицкий был худ, высок, негибачем и тщательно выутюжен. Глаза у него были круглые, тяжелые, оловянные. За это прозвали его «Рыбий Глаз».

Рыбий Глаз был ставленником прославившегося своей мерзостью министра народного просвещения Кассо. Больше всего на свете Рыбий Глаз любил муштровку, тишину и дисциплину. Каждый день, когда кончались уроки, он становился у выхода из раздевалки. Одевшись, мы должны были проходить мимо директора, останавливаться, снимать фуражку за козырек (обязательно за козырек!) и низко кланяться.

Один раз я торопился домой и снял фуражку не за козырек, а за околыш.

– Стой! – сказал директор. – Иди обратно и пройди еще раз. Надо кланяться как следует.

Он никогда не кричал. Голос у него был пустой, бесцветный, как жестянка из-под консервов. Распекая, он говорил: «Скверный мальчишка». Это было самым грозным ругательством в его устах. Это пахло всегда тройкой по поведению и другими неприятностями.

Всюду, где он ни появлялся, будь то класс или учительская, стихали разговоры; все, встав, напряженно молчали. Становилось душно. Хотелось открыть форточку, громко закричать.

Любил Рыбий Глаз неожиданно зайти в класс во время урока. Класс вскакивал с дробным грохотом парт. Учитель краснел, закашливался на полуслове и казался сам накурившимся гимназистом.

Директор садился у кафедры и следил за тем, чтоб вызываемые ученики сначала кланялись ему, а потом уже преподавателю. А когда приехал однажды попечитель округа, старенький, седой, с большой звездой, то директор, придя с ним в класс, показывал глазами тем, кого вызывали, что сначала надо кланяться попечителю, потом ему, директору, а потом уж учителю.

В кондуите по милости директора были такие записи:

Глухин Андрей был встречен г. директором в шинели, надетой внакидку. Оставить на четыре часа после уроков. Гавря Степан... был замечен г. директором на улице в рубашке с вышитым воротником. Шесть часов после уроков. Авдотенко Николай без разрешения не посетил занятий 13 и 14 октября. Оставить на двенадцать часов в классе (в два праздника).

(У Авдотенко Николая 13 октября умерла тетка, у которой он жил.) Попечитель, приезжавший из округа, остался доволен директором.

– Я доволен, милоштивый гошдарь, – шепелявил он директору. – Порядок у ваш обращцовый.

Учительская

В конце коридора, вправо от кабинета директора, была учительская. Материки и океаны, свернутые в трубку, стояли в углу за шкафом. Громадные круглые очки земных полушарий смотрели со стены. В стекле шкафа отражались «мы, божией милостью» – голубая лента, сусальная борода, пробор с зачесом, ордена – «царь Польский и прочая и прочая». (Портрет царя висел напротив.) В шкафу лежал кондуит. Кривая белка на шкафу пускала облезшим своим хвостом «гусара в нос» богине. Богиня была старая и гипсовая. Звали ее Венерой. Когда шкаф открывали, богиня легонько качалась, словно собираясь чихнуть. Шкаф открывали тогда, когда надо было достать кондуит. Ключ от шкафа хранился у надзирателя Цап-Царапыч. Мы его звали Цап-Царапычем и изводили всячески. Он был кривым и ходил со стеклянным глазом... Это Цап-Царапыч всеми силами скрывал. Но стоило ему только повернуться к нам искусственным глазом, как ему уже строились безобразные рожи, показывались «носы», кукиши ... Новички, не знавшие, что этим глазом Цап-Царапыч не видит, преклонялись перед храбростью озорников. Цап-Царапыч был автором доброй половины кондуитных записей. Это на его обязанности лежало следить за поведением учеников в гимназии и вне ее.

Он ловил нас на Брешке, где гимназистам гулять запрещалось. Искал гимназистов по улицам после семи. Приходил на дом, чтоб убедиться, действительно ли болен отсутствующий ученик. Подстерегал гимназистов у кинематографа «Пробуждение». Он рыскал дни и ночи в погоне за пищей для кондуита. Все же гимназисты умудрялись проводить его самым наглым образом. Однажды, например, он настиг целую компанию шестиклассников в кинематографе «Пробуждение». Гимназисты скрылись в ложе и заперлись там. Цап-Царапыч пошел за городом. Стали ломать дверь ложи. В зале уже шел сеанс. Тогда шестиклассники оторвали портьеры дожи, связали их одну с другой и спустились по ним в зал. Сначала на экране появились чьи-то болтающиеся ноги, а затем прямо на головы зрителей свалились гимназисты. Публика всполошилась. В суматохе шестиклассники удрали через запасный выход.

Тюлевые полосы папиросного дыма плавали в учительской, обвивая глобусы и чучела птиц. Рядом с кондуитным шкафом стоял стол, на котором лежали комплекты прилежаний и вниманий, единиц и пятерок всех учеников – классные журналы. Их во время перемен просматривал обычно инспектор.

Инспектор

Инспектора Николая Ильича Ромашова гимназисты почти любили. Это был красивый, плотный человек. Волосы ершиком. Темные прищуренные глаза. Языкаст он был, однако, до грубости.

И у него были свои собственные методы воспитания. Если, например, какой-нибудь класс совершал коллективное преступление или не хотел выдать виновных, Ромашов являлся туда после уроков. Он медленно входил в класс и становился перед вытянувшимися гимназистами. Затем, высоко задрав голову, оглядывал класс. Борода его, казалось, мела нас по головам.

– Дежурный, – спокойно-зловеще говорил инспектор, – а ну-ка, дежурный... закрой дверь. Тэ-э-эк-с.

Дежурный плотно закрывал дверь. Гимназисты, проголодавшиеся и уставшие после пяти уроков, стояли не шелохнувшись. Ромашов продолжал разглядывать класс сквозь бороду. Потом он вынимал из кармана книгу, садился за кафедру и углублялся в чтение. Класс стоял. Десять минут. Полчаса...

Просидев так с часик, инспектор вдруг откладывал книгу в сторону и негромким, но звучным баритоном начинал спокойно отчитывать:

– Ну-с! Что, болваны? Доостолопились, хулиганы, брандахлысты, голубятники?! У-у, «хохландия»!.. Голодранцы! При всей честной гимназии ошельмую, головотяпы! Шарлатаны! Галахи! Лодыри! Эй, чей это там дурацкий затылок? А-а, это твой, Гавря? Я, кстати, ведь и о тебе говорю. Чего рожу воротишь? Сам – первейший оболтус! Ну, что? Стыдно небось, обормоты? Мерзавцы! Оборванцы! Я еще доберусь до вас, прохвосты. Сидите вот теперь всем классом без обеда. А дома-то обед ждет. Щи горячие. Говядина жареная. Дух идет. – И инспектор щелкал языком и крутил носом. – Что? Хочется жрать? То-то и оно-то. А дома еще батька зад взгреет. Обязательно. Я записку специальную пошлю: спустите, дескать, вашему сыну штаны и всыпьте ему в задний конduit по первое число... Нечего смеяться, лоботрясы. Шалопаи! Го-ло-во-ре-зы! Безобедники! Срам!

И, поговорив так около часа, отпускал домой. По одному, с промежутками. Нас уже не держали ноги.

Агнцы и козлищи

Всех гимназистов Ромашов делил на «козлищ» и «агнцев». Так и знакомил нового преподавателя с классом.

– Садись, лоботрясы!.. Это вот, извольте видеть, – агнцы, зубрилки, пятерочники, дуροхлопы. А вот тут – единичники, двоечники, второгодники, безобедники, горлодеры, лодыри, «камчатка», «сахалин», «хохландия»... Алеференко! Спрячь живот в ранец. Выпятил!

Рассаживал нас сам инспектор, и таким образом, что на первых партах сидели самые отчаянные, ленивые и плохие ученики. Чем дальше к стенке, к окнам, тем больше пятерок было в дневниках и табелях. Но между «пятерочным» – задним левым углом класса, и «двоечным» – передним правым, существовали по диагонали самые дружеские отношения на основе подсказа и сдувания.

Сказание об афонском рекруте

Восемь непонятных записей хранит на своих страницах кондуитный журнал. Восемь загадочно одинаковых записей, помеченных одним днем. Вот что написано в кондуите восемь раз:

Ученику... такому-то... объявлен строжайший выговор с последним предупреждением за злостные хулиганские проступки. Отметка в поведении за четверть 4- (4 с минусом). Двадцать часов лишения праздника. Предупреждены родители. Классный наставник такой-то (подпись). Надзиратель (подпись).

Восемь записей этих скрывают в себе скандальную и трагическую историю, взволновавшую в свое время весь город. Но никому не известны развязка этой истории, ее конец и истинные участники. В кондуите ни слова нет о фараоне Козодаве, Афонском Рекруте и шалманском дворце мадам Коленкоровны.

Покойный гимназический сторож Мокеич поведал мне тайну кондуита. Об этом я и хочу рассказать.

Первый звонок

Лет восемнадцать назад в городе не было электрических звонков. Висели на крылечках проволочные ручки, ну вроде тех, какие в уборной бывают. За ручки дергали. Но вот приехал в слободу (Покровск был тогда еще слободой Покровской) новый доктор, про которого говорили, что он очень уважает науку и технику. Действительно, доктор выписал «Ниву» и провел у себя в квартире звонки с электрическими батареями. На двери рядом с карточкой выпятился беленький кукиш кнопочки звонка. Пациенты нажимали кнопочку, и тогда в передней оживал голосистый звонок. Это страшно всем нравилось. Доктор приобрел громадную практику, а в слободе завелась повальная мода иметь электрический звонок на парадном крыльце. Через пять лет не осталось почти ни одного домика с крылечком, на котором не было бы кнопочки. Звонки звенели на разные голоса. Одни трещали, другие переливались, третьи шипели, четвертые просто звонили. Около некоторых кнопок висели вразумляющие объявления: «Прозба не дербанить в парадное, а сувать пальцем в пупку для звонка».

Покровчане гордились своим культурным звонком. О звонках говорили с нежностью и увлечением. При встрече спрашивали о здоровье звонка:

– Петру Степановичу! Мое вам... Ну, як ваш новенький? Справил мастер?

– Спасибо, справил. О це ж и гарный звоночек. Милости просим послухать. Чистый канарей.

Свахи, расхваливая невесту, хвастали:

– Дом за ей дают флигерем, на парадном звонок ликстрический.

А слободской богач Млынарь завел у себя семь разных звонков на все дни недели. Самый веселый разливался по воскресеньям. В постные дни дребезжали

большие звонки самого мрачного тембра.

Когда какой-нибудь звонок переставал вдруг звонить, хозяин сейчас же посылал за Афонским Рекрутом. Рекрут врачевал старые звонки, ставил новые и слыл лучшим «звонковым мастером» в слободе. Слава его была велика. В слободской летописи он занимал столь же почетное место, как Сапсаево озеро – лучшее и поныне болото в Покровске, как Лазарь – лучший из извозчиков, здравствующий и сейчас, как пожар амбаров – лучший из пожаров.

Шалман

Афонский Рекрут жил на базаре, у мясных, пахнущих кровью рядов, в шалмане. Так называли свое неудобное, грязное жилье обитатели его. Рядом с шалманом была большая яма. На дне ее вечно стояли вонючие лужи, и собаки волочили петли кишок, комья требухи, облепленные золотисто-зелеными мухами. Немного дальше, полный перестука и звона, расположился скобяной ряд.

В шалмане жил Афонский Рекрут. Откуда взялся он, почему его звали так, какого роду-племени он был, никто не знал. А знали его все. Был он крепок и смугл, как каленый орех, худ, гибок, подвижен, как выпел. В левом ухе болталась громадная круглая серьга. Из-под горбатого носа торчали длинные и черные усы. Левый ус загибался кверху, правый – книзу, и усы были похожи на кран умывальника. Белоснежные зубы всегда сверкали в улыбке. Руки были вечно заняты какой-нибудь работой. А руки у Рекрута были, что называется, золотые. Все умел делать. Был механиком, парикмахером, фокусником, часовщиком – чем хотите.

Он был самым уважаемым человеком в шалмане. Все слушались его и любили. Никто не видал его сердитым. Даже когда в шалмане вспыхивала ссора, обнажались ножи, – даже тогда ярче их блистала улыбка Афонского Рекрута. Он, словно из-под земли, появлялся между ссорившимися, разнимал их и, взлетев балаганным чертом на нары, кричал:

– Поштенный публик! Киляля! Последний новейший фокус-покус черной, белой и полосатой с крапинками магии. Мадамы, мусьи и джентельмены! Атанде трошки! Гляйх их бин деманстре фокус-покус! Америк! Аллюра-шкидла!

Из кармана его летели коробки, шарики. Все вертелось над головой. Шляпа садилась на тросточку, стоящую на носу, папиросы зажигались из рукавов. Живот пел женским голосом. А рваный ботинок разевал рот и говорил: мерси... В шалмане позабывали про ссору.

Хозяйство в шалмане вела полусумасшедшая Дунька Коленкоровна. Любимцем ее был дурачок Костя Гончар. У Кости была безобидная мания навешивать на себя всякие яркие вещи. По городу он ходил в лохмотьях, на которых висели картинки из «Нивы», крышки чайных ящиков, рекламы папирос «Бабочка» и «Ю-Ю», ландринские коробки, бусы, бумажные цветы, карты, обрывки сбруи, сломанные ложки. В городе его любили как блажененького и дарили разные яркие ненужные вещички. До сих пор в Покровске про человека, одевшегося слишком ярко и пестро, говорят:

«Ось! Понарядился, как Костя Гончар».

Любил заглядывать в шалман фараон Козодав – городской, охранявший порядок на базаре. Козодав имел все, что полагается иметь образцовому городскому: свирепые усы, бляху, свисток, шашку-«селедку», хриплый раскатистый бас, нос сливой, медаль и шнурочные красные погоны, служившие предметом зависти Кости. Фараон заходил в шалман клюнуть рюмочку у Коленкоровны, подуться в картишки и побеседовать «за жизнь» с мудрым коммивояжером Иосифом Пукисом.

А еще жили в шалмане золотарь Левонтий Абрамкин, немец-шарманщик Гершта, с попугаем, который умел тащить билетки «счастья», чахоточный китаец Чи Сун-ча и два друга, два вора – Шебарша и Кривопатря.

Черт и «младенцы»

По вечерам в шалман пробирались гимназисты. Здесь можно было пожевать макуху, отдохнуть в хорошем обществе, забыть на часок разграфленную гимназическую жизнь, не боясь нарваться на Цап-Царапыча, сыграть в «очко». Здесь никто не спрашивал, какая отметка будет в четверти по русскому, готовы ли уроки на завтра. Мы были здесь желанными гостями. Вместе с нами жители

шалмана горячо возмущались гимназическими порядками, и многие даже готовы были бить латиниста за несправедливую единицу. Особенно горячился тихий вообще Чи Сун-ча.

– Какой зилая латыня, – говорил он, вырезая фестоны из разноцветной бумаги, – лас холосо, засем единиса?

Мы приносили в шалман интересные книжки, последние новости, наши гимназические завтраки, безделушки для Кости Гончара. Взамен мы приобретали некоторые полезные сведения и навыки по части вырезывания замков, чистки ретирад и приемов одесского джиу-джитсу.

Но Афонский Рекрут любил поспорить о прочитанной книге и втягивал нас в эти споры. Над ним сперва потешались: связался, дескать, черт с младенцами, но вскоре в спорах стали принимать участие почти все шалманские обитатели. Кроме того, один из «младенцев», Васька Горбыль, так отлупил Шебаршу, что к гимназистам стали относиться с полным уважением. Сначала читали легкие книжки. Так мы проплыли «80000 лье под водой», нашли «Детей капитана Гранта», чуть сами не потеряли головы с «Всадником без головы». А потом Степка Гавря, по прозвищу Атлантида, принес под полой и другие книжки. Затаив дыхание, слушал шалман о парижских коммунарах.

Тайна этих посещений сохранялась гимназистами очень строго.

Даже в классах многие не знали, где проводит время так называемая Биндюгова шайка. Когда в шалман неожиданно заходил Козодав, книжки тотчас прятались, а фараону преподносилась рюмочка. Разомлевший фараон таинственно сообщал:

– Слышь, гимназеры? Раньше как через полчаса не вылазьте. Ваш Цап-Царапыч по Брешке шныряет. Я тогда скажу, как можно станет.

Во саду ли...

В сентябре в Народном саду поредела листва, побурел кохий. Сад стал похож на вытертый воротник старой шубы.

В сентябре на главной аллее гимназисты затеяли с парнями драку.

Пятиклассник Ванька Махась гулял с гимназисткой. Сидящие на скамейке парни с Бережной улицы стали «зарываться».

– Эй, сизяк! Ты с нашей улицы девчонок не замай.

Махась отвел гимназистку к фонтану. Сказал:

– Я извиняюсь. Одну секунду. Я в два счета.

Потом вернулся на аллею, подошел к парню и молча ударил. Парень слетел со скамейки на проволоку, огораживающую аллею. И сейчас же вся аллея покатила в одной общей, сплошной драке. Дрались молча, потому что на соседней аллее сидели преподаватели. Парни тоже понимали это и считали нечестным кричать и тем подводить противников.

Проходившие сторожа разняли дерущихся. Появление Цап-Царапыча окончательно прекратило побоище.

И тогда городская дума попросила директора внести в список запрещенных для гимназистов мест и Народный сад. Директор с полной готовностью согласился. Гимназисты лишились последнего места для гуляния. Они пробовали протестовать, но родительский комитет одобрил приказ директора.

«Идем на Вы!»

В тот же день в шалмане состоялось экстренное и тайное совещание. Из гимназистов присутствовали лишь Биндюг и Атлантида.

Атлантида был вне себя от негодования.

– Нет, – волновался он, – это просто чертовщина какая-то! И так носу сунуть никуда не дают, а тут еще это... Плюю я после этого на весь Покровск.

– Знаете, что я вам предложу? – сказал Иосиф. – Пошлите попечителю телеграмму с оплаченным назадом. Нельзя же молчать. Ведь это прямо какая-то черта оседлости для гимназистов. Тут нельзя, там нельзя... А где можно? Я знаю где?..

– Аллюра-шкидла! Да какие тут к чертям телеграммы! – перебил его Рекрут. – Нет, тут надо поварить котелком. Иесь!

– Размордовать!.. И никаких! – весело посоветовал с верхних нар Кривопатря. Он лежал, свесившись, и сосредоточенно плевал, стараясь попасть в кольцо из сведенных пальцев.

– Нет! – твердо сказал Атлантида. – Этот номер не пройдет, тут треба всему городу накласть... Они все виноваты. И дума и комитет. Черти свиные!.. И чтоб не всыпаться самим. А то как засвистишь из гимназии... Вот тут и мозгуй.

– У нас ребята дружные, – добавил Биндюг, – как насядем гуртом – держись!

Стало тихо. Заговорщики задумались. Капало с крыши.

Вдруг Иосиф вскочил, хлопнул безжалостно себя по лбу и воскликнул:

– Эврика! Эврика, что значит по-гречески «нашел»! Блестящая идея зародилась в этой голове... Что?

– Да ну, не тяни ты, ради бога! Говори, что ли!

– Что это за колоссающий шум? Вы где, в гимназии или в порядочном шалмане?

– Скажешь ты или нет? Тянет, черт тебя не дери...

– Тсс! Прошу соблюдать тишину! Моя идея – идея-фикус! Она имеет для всех нас только хорошие стороны – и ни одной плохой. Так слушайте же вы... В чем исключается моя заключительная. То есть наоборот! В чем заключается моя исключительная идея. Вы берете и делаете так...

И Иоська стал тощими своими пальцами, как ножницами, стричь воздух. Он стриг таким образом воздух несколько минут, потом обвел всех сияющим взглядом и сказал торжественным шепотом:

– Звонки...

Манифест

Аля проведения «звонкорезной» кампании Биндюг назначил восемь отборных ребят из всех классов. Аля этого заготовили такие манифесты:

«Ребята! Нам запретили шляться по Народному саду. (Посмотри, не смотрит ли на тебя кто!) Против нас стоят Рыбий Глаз, Дума, Родительский. Выходит, против нас весь город. За это им надо так наложить, чтоб год помнили. Весь Покровск помнил чтоб.

У нас в Покровске все носятся со своими звонками, как дурни с писаной торбой. Ребя! Мы, Комитет Борьбы и Мести, решили срезать все звонки в городе. Каждый из нас должен срезать в установленный заранее день звонок со своих дверей. Родители за директора.

В тех домах, где нет гимназистов, звонки будут срезаны квартальными ребятами, которым это поручит Комитет Борьбы и Мести лично. Мы проведем «варфоломеевскую ночь» в смысле звонков! Ребята! Режьте без пощады! Нас довели до этого. Нас лишили последнего гуляния и отдыха на лоне и развлечения.

В каждый класс назначаются от Комитета Борьбы и Мести старосты. Слушайте их, господа! Ввиду опасности выкидки даем клички.

1 класс.....«Маруся»

2 ».....«Свиц»

3 ».....«Атлантида»

4 ».....«Дондер-Шиш»

5 ».....«Цибуля»

6 ».....«Сатрап» («Тень отца Хамлета»)

7 ».....«Мотня» («Я – житель»)

8 ».....«Царь Иудейский»

Главный.....«Биндюг»[З - Почти все гимназисты имели свои клички. Некоторые имели даже по несколько. Например, «Мотня» звался еще также «Я – житель». Прозвище это дали ему за то, что, спрягая в латинской письменной работе глагол «инколо» (населять), он спутал его с «инкола» (житель) и всюду, переводя на русский, спрягал: «я житель, ты житель, он житель...».]

Срезанные звонки сдаются классному старосте. Он передает их через Комитет одному инвалиду, который за это будет давать нам порох, патроны, пугачи и др. О дне «варфоломеевской ночи» будет дан старостами сигнал в виде белого треугольника, присобаченного к окну на стекле.

Не надо ломать большой звонок в учительской, а то догадаться можно кто. Кто будет об этом звонить, тому так заткнем звонок... Режь звонки!

Один за всех!

Все за одного! Да живет Борьба и Мечь!

Подпишись, передай дальше, кроме Лизарского и Балды.

Ком. Б. и М. 1915 г.».

И пошли гулять по гимназии манифесты под шепот подсказки, в толчее перемен, в накуренной вони уборной. Двести шестьдесят восемь шинелей висело в

раздевалке. Двести шестьдесят шесть подписей собрали манифесты. Не дали манифеста сыну полицейского пристава Лизарскому и товарищу его Балде.

Война была объявлена.

«Сорванные голоса»

Через пять дней главари собрались поздно вечером в шалмане. Несмотря на позднее время, все они явились с тяжелыми ранцами за спиной. А в ранцах, там, где бывал обычно многоводный «Саводник» и брюхатый цифрами «Киселев», лежали срезанные кнопки звонков. Белые, черные, серые, перламутровые, эмалевые, желтые, тугие и западавшие кнопочки (раз нажмешь – звонит без конца) смотрели из деревянных, металлических кружков, квадратиков, овалов, розеток, лакированных, ржавых, мореных и крашенных под дуб и под орех. Оборванные провода торчали из них, как сухожилия.

Весь город записался в очередь к Афонскому Рекруту. Две недели с утра до вечера привинчивал Рекрут новые звонки, ставил «сорванные голоса», как шутя любил он говорить. Когда же последняя кнопочка была привинчена, Рекрут сказал Биндюгу:

– Крой! Через неделю.

В субботу была грязь. Не одна галоша захлебнулась в лужах, не один резиновый бот затонул на главной улице Покровска. Когда же, теряя галоши, дорогу и силы, покровчане пришлепали из церкви домой, они долго шарили в темноте по дверям, зажигали спички, прикрывая их ладонью от ветра. Кнопок не было. К ночи весь город знал: новые звонки срезаны!..

– Шо ж таке? – волновались на другой день в церкви на обедне, на углах улиц, на завалинках, у ворот. – Матерь божия! Середь белого дня... грабеж. Мабуть, вони целой шайкой шкодят?..

– Як же!.. Поставила я тесто та и вышла трошки с шабрихой покалякать, с Баландихой. Ну, а у хате Гринька, бильшенький мой, уроки, кажись, учил.

Покалякала я трошки, вертаюсь назад, хочу парадное зачинить... шась! Нема, бачу, звоночка... И не было никого округ...

И не знала бедная кума, что ее-то «бильшенький», курносый пятиклассник Гринька, сам и срезал звонок...

Земский и сын

Уныние царило в городке. Новых кнопок уже не ставили. Гимназисты торжествовали. На всех дверях печально пустовали невыгоревшие светлые кружки с дырками от гвоздей.

Только земский начальник позвал Афонского Рекрута.

– Ставь новый! – сказал земский. – Ставь, подлец! Да крепче! Знаю я вас, чертей афинских... Все ваши шахер-махеры знаю.

Земский погрозил пальцем. Рекрут насторожился.

– Нечего, нечего прикидываться! Знаю. Норовишь, чтоб чуть держался, поставить. Чтоб легче хулиганам этим было. Вам, архаровцам, одна выгода. Они сорвали, а тебе, черномазое жулье, заработок. Ну, на этот раз шалишь! Я городского поставлю. Круглые сутки дежурство.

Рекрут привинтил новый звонок и побежал в шалман, где ждали его гимназисты. Рекрут объявил:

– Земскому новую пупырку присобачил. Резать нельзя. Фараон караулить будет.

– Плевал я на всех фараонов! – упрямо крикнул гимназист Венька Разуданов, сын земского начальника, по прозвищу Сатрап. Коренастый, упрямоголовый, он сильно смахивал на отца. (Отсюда и пошло его второе прозвище – Тень отца Хамлета.)

– Послушайте, вы, воинствующий мальчик, – сказал Иосиф Пукис, – что это за апломбированный тон? Как бы вы не сняли вместо звонка вот эту гербовую фуражку. Зачем залазить на рожон? Осторожность прежде всему.

– Верно, Сатрапка, смотри... Если вляпаешься – вот! Приложу... – И Биндюг поднес к носу Сатрапа свой чудовищный колотушкообразный кулак.

Как всегда, кулак подвергся тщательному и любовному обсуждению. Все щупали кулак и восхищались:

– Дюжий кулак! Поздоровче моего.

– Хороший кулак в наше время лучше неважной головы, – философствовал Иосиф.

– Холеси кулак, – восхитился Чи Сун-ча, – такой кулак палаходя босьман. О! Зюбы ньет!

– А звонок я все-таки срежу! – упрямо буркнул сын земского.

Глава почти кинематографическая, в которой читатель, видя наверху ноги, а внизу голову, может крикнуть автору: «Рамку!»

Тьма

Потом, когда глаза наши привыкли, мы видим дверь с дощечкой: «Земский начальник Геннадий Вениаминович Разуданов». Около – новенькая кнопочка звонка. Площадка второго этажа. Кусок лестницы. Внизу, под лестницей, – голова с длинными усами и толстым носом. Фуражка с кокардой. Это Козодав. Ему холодно. Он ежится. Он подымает воротник. Он часто моргает. Глаза слипаются. Козодаву хочется спать.

Часы в столовой земского начальника показывают два. На столе стакан молока и бутерброд. Кому-то оставлено...

По лестнице поднимаются ноги. Резиновые галоши в грязи. Одна нога спотыкается о ступеньку:

- Тьфу, дьявол! Темно, как у негра под мышкой.

Вспыхивает спичка. Рука в изящной перчатке подносит спичку к звонку. Спички одна за другой долго вспыхивают и тухнут.

- Ну, на этот раз Рекрут постарался!

Внизу голова Козодава. Наверху ноги в резиновых галошах. Козодав, который на минутку заснул, очухавшись, тяжело вбегает наверх...

- Ага! Попался! - Надувшись, топорща усы, он свистит. Другой рукой он поймал неизвестного за шиворот. Свистит. - Каррраул!.. Пымал!

Неизвестный спокойно оборачивается и властно отрывает от себя руку полицейского. Это сын земского, Венька Разуданов. Он негодует:

- Ты что, болван, спятил? А? Заставь дурака...

- В... в... винов... ват-с! Не признал в темноте-с. Сделайте божескую милость, простите. Думал, за звонком кто...

Дверь раскрывается. Земский в женином капоте, с двустволкой в руках вылезает на площадку, и из-за его спины выглядывают испуганные, заспанные лица жены, свояченицы и прислуги.

- В чем дело?!

Козодав стоит вытянувшись, рука к козырьку. Веня объясняет:

- Этот дурак со сна принял меня, папа, очевидно, за бандита. А звонок сам проспал.

Все смотрят на дверь. Там, где только что был звонок, – обрывки проводов и дырочка от гвоздей. Все поворачиваются к Козодаву. Козодав подходит к дверям, не верит глазам, щупает место. Потом разводит руками. Земский трясет его за шиворот:

– Вон, мерзавец! Проспал!

Венька разыгрывает обиженного и взволнованного.

– Я так устал, мама. Занимался все время... А тут это...

Ну, тут идут дела семейные. Поцелуй, там, диафрагма – словом, конец главы.

Из кармана Венькиной шинели торчат обрезанные провода и упорно поблескивает кнопка.

Фараон вызывает Иосифа

Пристав сказал Козодаву:

– Чтоб у меня эти звонкорезы были пойманы! Слышишь? Оскандалился, черт тебя бы не взял, на весь город!.. Поймаешь – пятьдесят рублей награды. Нет – так ты у меня попрыгаешь, бляха номер два ноля!

Фараон с рвением взялся за розыски. Он шел по базару... Не шел, а плыл. Красные шнуры погон на его богатырских плечах взлетали, как весла, в людской реке базара. И на базаре Козодав встретил Костю Гончара – шалманского блаженного, пестрого Костю. Разукрашенный, как рождественская елка, бродил Костя по базару. Две новые реликвии лучились на его брюхе: реклама галош «Треугольник» и... большая красная розетка с кнопкой от звонка. Увидев звонок, фараон кинулся к Косте. Он пообещал Косте, если тот скажет, откуда у него звонок, подарить красные погоны, золотые висюльки и все, что угодно. Костя, улыбаясь, рассказал все... Рассказал, как украл звонок из-под нар Рекрута.

– Рекрут сховал, а я пошукал трошки, та и взял... Там их сколько много!.. Раз, та еще двадцать раз, та еще...

Козодав пообещал еще тысячу разных ярких вещей. Костя принес ему обрывки «Манифеста Борьбы и Мести». Главари были в руках. Чтоб словить остальных, фараон решил соблазнить Иосифа. Он явился в шалман и сел на его нары, дипломатически покашливая.

– А-а, господин лейб-городовой, – приветствовал его Пукис, – вы до меня? Чем могу быть нужным?

Фараон придвинулся поближе, огляделся, толкнул Иосифа локтем в бок.

– Ох, Иосиф, як бачу я, и хитрый же ты! А ну-ну, расскажи, як с Рекрутом звоночек срезали. Я никому ни-ни. Так, послушать охота. Ну, брось корежиться.

– Я ни капли вас не понимаю. – Иосиф сделал удивленно-спокойное лицо. – Хотя я и Иосиф, а вы фараон, но я не могу понять, откуда вам это приснилось...

Козодав вынул бумажник и зашелестел радужными бумажками. Иосиф спокойно продолжал:

– И потом, мне кажется, не в обиду вам пусть сказано, что вы, господин лейб-городовой, вы колоссающий обер-подлец!

Козодав погрозил кулаком, хлопнул дверью и вышел. По дороге он остановился. Вынул манифест. Начало и конец были оборваны, но список старост остался нетронутым. Поразмыслив, Козодав вырезал из манифеста Сатрапа, сына земского начальника. «Земский за эту бумажку пятишку даст, – решил городской, – а не то и его сынка попрут». Поправив фуражку, фараон пошел в участок, а оттуда в гимназию, к директору...

Шаги в коридоре

Скучный ветер студил лужи, как чай на блюдечке. Звенели телефонные провода. В десять телефонная барышня соединяла звенящими в ветре проводами полицейский участок с зеленым кабинетом за учительской. Директор, зеленый, как обои его кабинета, и медлительно безрадостный, как диктант, повернул рукоятку телефона, откинулся в кресло, снял трубку и поднес ее к уху.

– Да, – сказал он, – слушаю.

В гимназии шли уроки. И через полчаса во всех классах услышали: по коридору прошли двое. У этих двоих были тяжелые незнакомые и недобрые шаги. У одного, ступавшего тяжело и кряжисто, скрипели сапоги. Другой на каждом шагу чем-то позванивал, тренькал. В классах прислушивались. Подняли головы от тетрадей, шпаргалок, щелей в парте, от запретных книжек и козырного валета. На дверях остановились настороженные взгляды.

Развязка

В третьем шла письменная по математике. Коридор опять затих. Скрипели перья. Биндюг сморозил что-то в задаче. Не выходило по ответу. Шаги в коридоре совсем сбили с панталыку. Степка-Атлантида, у которого сердце тоже екнуло, увидев друга в затруднительном положении, послал ему записку:

«Свинья не выдаст, директор не съест».

Но свинья выдала... Дверь класса раскрылась. Класс грохнул партами. Вошел мерзостно-ликующий Цап-Царапыч, играя брелочком-ключиком. Ключик был от шкафа, где лежал кондуит. Цап-Царапыч вызвал:

– Гавря! К директору!

Атлантида растерянно вырос над партией. Цап-Царапыч заторопил:

– Ну, живо! Поворачивайся. Книги возьми с собой...

Класс взволнованно загудел. С книгами!.. Значит, совсем. Не вернется...

Биндюг ждал, словно под удар наклонив голову, но Цап-Царапыч молчал. Козодав, убоившись Биндюговых кулаков, вырезал и его из списка.

Атлантида дрожащими руками собрал книги, взял ранец и пошел к двери. По дороге незаметно сунул Биндюгу свернутую в трубочку бумажку. В дверях Атлантида остановился и хотел что-то сказать, но Цап-Царапыч вытолкнул его за дверь. Класс томительно молчал. Учитель математики нервно протирал запотевшие стекла очков...

Биндюг расправил бумажку, которую ему дал Атлантида. На бумажке было полное решение задачи, не выходившей у Биндюга. Степка и в последнее мгновение не забыл друга, помог. С минуту Биндюг сидел неподвижно, опустив голову и уткнувшись глазами в одну точку. Потом вдруг встал, качнулся над партой, вобрал воздуха во всю свою широкую, как рыдван, грудь, избычился и решительно сказал:

– Можно выйти?

– До конца урока осталось десять минут, – сказал учитель.

– Можно выйти? – упрямо выдохнул Биндюг и шагнул в проход.

– Идите, если вам так приспичило.

Замерший класс увидел, что Биндюг собрал книги, торопясь, попихал их в ранец и грузно пошел с ним к дверям. Небывалая тишина наступила в третьем классе.

Не оглядываясь, Биндюг вышел в коридор. В пустом коридоре Биндюг почувствовал себя маленьким и обреченным. И он услышал, как за дверью в страшном немении покинутого им класса полыхнул, взвился над партами, чернильницами, кафедрой тонкий хохот и перешел в захлебывающийся визг. Это на первой парте, не выдержав, забился в истерике маленький Петька Ячменный...

Биндюг расправил плечи и зашагал в кабинет директора.

Восемь

Козодав сопел. Он сопел и тыкал пальцем в стоящих перед ним гимназистов.

- Так точно! Это вот - Свищ. А этот-с - Атлантида-с. Ихняя кличка такая-с.

Другой, позванивая шпорами, раскачивался, откинувшись на спинку стула, и крутил черные усики:

- Так-с, так-с... Ай да конспирация!.. Так-с, молодые люди.

Семеро стояли перед столом. Семеро, так как сына земского начальника не было. Копоть тоски и отчаяния оседала на лица.

- Так. Отлично, - сказал резко и сухо директор, словно щепка треснула, - благодарю вас... Ну-с, скверные мальчишки! Что вы можете сказать? Стыд! Срам! Позор! Кто был еще с вами? Не скажете? Скверные, отвратительные мальчишки. Мародеры! Вы все будете исключены. Вы позорите герб. Разговоры бесполезны. Пришлите родителей. Мне их очень жалко. Иметь таких детей - большое горе для родительского сердца. Дрянь.

Семеро вскинули глаза и тяжело вздохнули. Родители... Да... Сейчас дома будут слезы матери. Ругань. Отодвинутый с грохотом стул отца. Может быть, оплеуха. Стынувший обед... «Водовозом будешь, скотина!..» Пустые дни впереди.

И Царь Иудейский грубо сказал:

- Не будем касаться родителей, Ювенал Богданыч! И так тошно.

- Молчать! Вы что, волчий билет захотели, скверный мальчишка?

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Очень хорошо. Говорите по-английски?

2

Ничего не значащий, бессмысленный набор иностранных слов.

3

Почти все гимназисты имели свои клички. Некоторые имели даже по несколько. Например, «Мотня» звался еще также «Я – житель». Прозвище это дали ему за то, что, спрягая в латинской письменной работе глагол «инколо» (населять), он спутал его с «инкола» (житель) и всюду, переводя на русский, спрягал: «я житель, ты житель, он житель...».

Купить: <https://telnovel.me/ru/lev-kassil/konduit-i-shvambvaniya-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)